

ИНТЕРВЬЮ И РЕЦЕНЗИИ

*Капитал у власти**

*Беседа с Аленом Бадью
(Die Zeit, № 49 от 26 ноября 2009)*

Демократия податлива и лучше всего подходит либеральному капитализму.
В этом ее большая опасность.

Die Zeit: Г-н Бадью, в Германии сейчас идет спор вокруг справедливости и будущего социальной демократии. Вы – коммунист и пишете слово «демократия» в кавычках. По-вашему, это всего лишь олигархия финансистов, профессиональных политиков и телеведущих. Однако, я видел вас по телевидению оживлённо дискутирующим. Зачем вы участвуете в этой игре господствующего класса?

А.Б.: Я поставил условия – никаких ток-шоу, беседуют только двое. Более 20 минут на выступление и только по темам, которые, так или иначе, относятся к моей работе. Так что ничего о моде или знаменитостях.

Die Zeit: Ага? Значит такое возможно.

А.Б.: Все возможно, локальные исключения всегда есть. Это не меняет того, что законы производства товаров, рынка и, прежде всего, конформизма, действительны и для медиа. Так телеведущий, например, это знаменитость, которая громче встречает людей известных и репрезентирует социальные стереотипы правящего класса – он зарабатывает много денег, тратит их на репрезентацию и подкупается ими. Не потому, что он хочет участвовать в некоем заговоре, но просто из-за своей роли. Мне это знакомо также из политики. Я был однажды

* Перевод с немецкого – Влад Мо

в той же социалистической партии, что и Мишель Рокар – бывший премьер-министр Франсуа Миттерана. Достойный человек, но, однако, шаг за шагом, становясь государственным деятелем, он становился все умереннее.

Die Zeit: Он теперь консультирует Николя Саркози.

А.Б.: В его случае я мог наблюдать как отрекаются от идеи эмансипации ради благоразумия. Если вы хотите делать политическую карьеру, вы должны согласиться с тем, что капиталистическое общество в своей основе доброкачественно. За этим нет никакого тайного заговора, вы просто следуете течению вещей. Силой привычки идёте простейшим путем.

Die Zeit: Для вас демократия – это только машина, обслуживающая капитал и ничего больше? Неужели здесь нигде нет никакого эмансипационного момента?

А.Б.: Следует проводить различие между демократией как государственной формой и ее этимологическим значением. Все государственные формы консервативны, служат поддержанию государственной власти, это верно для деспотий ни чуть не иначе, чем для демократий. Чередование между большинством и меньшинством, правыми и левыми лишь придает демократии больше гибкости. Она поэтому лучше подходит либеральному капитализму, чем любая другая государственная форма, и защищает его. Второе значение демократии этимологическое – народ решает вопросы, которые его касаются. С нашим классовым обществом это явно не тот случай.

Die Zeit: Вы требуете ограничить права частных собственников, но они и так всегда ограничены – в конце концов, даже государством. За каждым договором стоит полиция. Если вы требуете дальнейших ограничений, тогда это также только реформаторская программа, и никоим образом не коммунистическая.

А.Б.: Называйте это тихой реформой, но она должна перейти за некоторую качественную точку, стать необратимой в отличие от национализации 1981 года в период Франсуа Миттерана. Понимаете, все эти дебаты о реформе или революции устарели. Кто такие реформаторы сегодня? Это правые. Саркози все время говорит о «разрыве» – это их классовая борьба. Левые, напротив, консервативны, потому, что им ничего лучшего не остается, как придерживаться того, что было отвоено в 70-х. И как я должен представлять себе «революционера»? Вооружаться и захватывать предприятия? Отнюдь нет, если серьезно. Нет, мы находимся в некоторой новой последовательности политики освобождения [emanzipatorischer Politik].

Die Zeit: Где собственно?

А.Б.: Революционные движения 19-20 вв. прошли и не вернутся вновь. Пролетариат, партия, стратегия и тактика – весь этот автоматизм канул в прошлое. И эмансипацию нужно заново реконструировать. Все обстоит так же, как во времена молодого Маркса – капитал находится у власти, общественные проблемы обостряются, но в поле видимости нет никакого движения с революционной,

ниспровергающей тенденцией. Так что надо искать. Непредвиденное. Вдали от государства. Не так, как это делает «Новая антикапиталистическая партия» во Франции, участвуя в выборах, – она пойдет путем всех прочих левых.

Die Zeit: В вашей книге *Логика миров* вы критикуете сопутствующие демократии идеи конечности, относительности истин. Вместо этого вы постулируете «реальную бесконечность истин». Означает ли это, что демократия философски устарела?

А.Б.: Уже Платон был против демократии.

Die Zeit: Из-за того, что она ведет к тирании.

А.Б.: Тирания вытекает из базовых проблем демократии, демократический человек по Платону – это человек без принципов.

Die Zeit: «В его жизни нет порядка, в ней не царит необходимость» – так это в восьмой книге *Государства*.

А.Б.: Демократическая жизнь – это жизнь без идеи. Такая жизнь может быть очень приятной, она может проходить с наслаждением. В том-то и дело, что человеку рынка *нравятся* продукты. Однако философ должен спрашивать, возможна ли жизнь вблизи истины, жизнь в идее?

Die Zeit: Святая жизнь.

А.Б.: Нет, не религиозная, но по эту сторону. Правильная жизнь – это жизнь в мудрости. В этом я придерживаюсь классической постановки вопроса и выступаю против того, что философия должна быть, прежде всего, критикой здравого смысла. Я воспринимаю себя в качестве наследника традиции философского разыскания подлинной жизни. Господствующий сегодня образ мысли, напротив, настроен скептически против истины, он пропагандирует жизнь в потреблении, в развлекающем рассеивании.

Die Zeit: В обоих ваших «философских манифестах», второй из которых только что вышел на немецком, – вы защищаете существование истин от господствующего «демократического материализма». И сводите его к формуле «нет ничего, кроме тел и речей». Как следует это понимать?

А.Б.: Современные общества фундаментально материалистичны, как бы им не хотелось быть совместимыми с религиозными взглядами. Однако на практике для них существует только двойственность, во-первых, – индивидов с их интересами и предпочтениями и, во-вторых, – групп индивидов. Чтобы это отчетливо различать, я и говорю о «телах» и «речах». Игра этих факторов более или менее гармонизируется государством и это всё, что с ними в принципе происходит. Как правило. Однако бывает, что случаются и сюрпризы, непредвиденное, непредсказуемое, исключения, назову их пока «делами» [Sachen]. Эти дела имеют одну универсальную ценность. Они не позволяют себя редуцировать до индивидов или групп, даже если они были произведены определенными индивидами или возникли в определенных группах. Возьмем какую-нибудь трагедию Софокла. Она, несомненно, была написана на греческом языке, в из-

вестное время, в определенном обществе, конкретным автором. Но если мы так скажем, то сразу заметим, что этим сказано далеко не всё. Там есть нечто, что от нас ускользает. То, что нельзя схватить с помощью анализа биографии автора, его времени и языка. Некий избыток. Я называю эту штуку [Sache] истиной. И поэтому я противопоставляю формуле демократического материализма более широкую формулу материалистической диалектики: нет ничего помимо тел и речей, если только не возникают истины. В политике, в науке, в искусстве и в любви.

Die Zeit: Как мы узнаём истины? Что могло бы быть критерием?

А.Б.: Нет единого критерия. В науке это проще, в искусстве и в любви – сложнее.

Die Zeit: Является ли опыт критерием истины в политике? Например, опыт краха социализма?

А.Б.: Опыт – это только один критерий среди многих, здесь тоже имеются нерешенные проблемы. Например, нерешенная проблема роли государства в некапиталистическом развитии. Попытки решить эту проблему с помощью централизованной, плановой экономики, централизованного государства и единой партии потерпели крах, притом окончательный.

Die Zeit: И эта проблема будет дальше путешествовать по мировой истории, до тех пор, пока она не найдет новых индивидов и новые группы. Мне казалось, что для платоника, коим вы являетесь, люди имеют значение только как сосуд для идей. Вы же пишете о телах как о «материальных субстратах истин».

А.Б.: Нет, индивиды могут присваивать себе истины, сражаться на их стороне. У них же есть только они сами и истины. Они не могут рассчитывать на капитал, на оружейные арсеналы, на информационные ресурсы. Только на себя. Это была великая максима китайских коммунистов – доверяй собственной силе.

Die Zeit: И народ – это белый лист бумаги, на котором партия может рисовать прекраснейшие иероглифы.

А.Б.: Не народ, имелось в виду – историческая ситуация.

Die Zeit: История – это бойня народов, так называется она у Гегеля.

А.Б.: Но она также и место эмансипации.

Die Zeit: Существует ли прогресс в истории?

А.Б.: Здесь следует различать – есть прогресс в политике, в искусстве, в науке, в любви, но нет *закона* прогресса. История – это, в конце концов, только символическое место, строго говоря, она не существует; во всяком случае, не как большое монументальное единство в гегелевском значении, которое имеет некий смысл и его раскрывает. Все, кто верили в эту фикцию, приходили (как, например, Френсис Фукуяма) рано или поздно к утверждению, что вот, конец истории достигнут. Это, так сказать, ирония истории.

Die Zeit: Вы цитируете французского революционера Сен-Жюста, который разумно полагал, что если мы откажемся от террора, то победит коррупция. Многие упрекают Вас в неоднозначном отношении к насилию. По-вашему, прогресс оправдывает террор?

А.Б.: Не существует общего для всех оправдания террора – всегда только применительно к отдельным случаям. Но даже в этих случаях террор всегда есть нечто негативное – даже тогда, когда он необходим.

Die Zeit: Вы иногда пишете о терроре, довольно часто о китайской контрреволюции, но никогда об их гекатомбах (массовых убийствах).

А.Б.: А что вы об этом знаете?

Die Zeit: Боюсь, что достаточно.

А.Б.: Кто кого убил?

Die Zeit: Красная гвардия героически расправилась с врагами народа.

А.Б.: Большинство жертв были красногвардейцы, убитые военными. Все это было кровавой гражданской войной, но не более значительной, чем другие войны в истории. Первой попыткой решить проблему социалистического развития через мобилизацию масс, а не через государственный террор.

Die Zeit: В этом я с вами не согласен. Может быть, теперь поговорим лучше о другой вашей страсти, о математике. Следуя вашей логике, математика – это подлинная онтология, то есть учение о бытии как таковом. Вы считаете значительнейшим событием в современной математике теорию множеств Георга Кантора. Почему именно её? Почему не доказательства Курта Гёделя о неполноте математических систем или математики Алонзо Чёрча и Алана Тьюринга, которые имели дело с границами того, что может быть формально сконструировано.

А.Б.: Кантор был первым, кто помыслил бесконечность не как метафизическое нечто, не как некое единство, а как многообразие, некий упорядоченный мир, в котором можно двигаться от одной бесконечности к другой без того, чтобы когда-либо окончательно охватить её. Кантор был платоником, Гёдель, кстати, тоже. Чёрч и Тьюринг, напротив, пошли конструктивистским путем – мыслить не в русле больших проектов, а конкретными строительными инструкциями [Bauanweisunden]. Для них существовало только конструируемое в каждом конкретном случае.

Die Zeit: Прекрасно!

А.Б.: Я скорее на стороне тех, кто выдвигает и испытывает смелые гипотезы.

Die Zeit: Ваш антискептицизм и ваш антиконструктивизм подходят друг другу.

А.Б.: Это, возможно, важнейший спор – не между скепсисом и догмой, а между конструктивизмом и антиконструктивизмом.

Die Zeit: Скептик и конструктивист не верит в то, что ему не продемонстрировано. Он – демократ, потому что он всегда считает возможным ограни-

ченность любых конструкций. Например, его представление об общем благе. Кто в коммунистическом обществе, как Вы его себе представляется, определял бы общее благо?

А.Б.: Субъект найдется. В настоящее время об этом можно только теоретизировать. Есть, конечно, экономисты, которые посвящают себя вопросу о том, как могла бы выглядеть справедливая экономика, основанная на сотрудничестве.

Die Zeit: Которые выступают за конструкции с ограниченной и все еще неизвестной областью применения. Не было бы тогда лучше, напротив, придерживаться демократии скептиков?

А.Б.: Это в любом случае было бы много лучше, чем уступить демократию их противникам справа. Но мне видится иная демократия. Та, что не так, как нынешняя, служит только для того, чтобы поддерживать существующую власть.

Беседу вел Геро фон Рандоу

Три мнения об одной книге:

Татьяна Разумовская: Травма:Пункты: Сборник статей/Сост. С. Ушакин и Е. Трубина. (М.: Новое литературное обозрение, 2009), 936 с.

Современный мир с его продвинутым уровнем технологии, стремительными темпами развития экономики и все более глобализующейся культурной средой представляет собой источник постоянного травмирования отдельных людей, групп и целых обществ. Техногенные катастрофы, войны, теракты, болезни, социальные катаклизмы непосредственно связаны и с отечественным контекстом – как с историческим прошлым, так и с актуальным настоящим. Книга *Травма:пункты*, опубликованная издательством *Новое литературное обозрение* в 2009 году, представляет собой труд поистине энциклопедический по объему и широте тематического охвата, с глубоким раскрытием каждого из разнообразных аспектов, составляющих сложную и трагическую текстуру жизни человека страдающего.

Некоторые события оставляют незаживающие раны в общественной психологии, разрушая единство и непротиворечивость социальной ткани отдельного сообщества или целой нации. Память поколений, не являвшихся непосредственными свидетелями событий катастрофы или постпамять является важнейшей частью их культурной идентичности, в феномене вторичного свидетельства, о

котором пишет Елена Трубина («Феномен вторичного свидетельства», с. 171-208), отражается необходимость осмысления человеком своей связи с историей, выражения своего отношения к ушедшим катастрофам и страх их повторения. Статья Трубиной основывается на материале сразу нескольких кейсов, связь между которыми неочевидна и раскрывается лишь в свете идей автора в процессе прочтения: воспоминания и рисунки бывшей узницы ГУЛАГА Ефросиньи Керсновской, использованные для оформления сайта о лагере как пример визуализации коллективной травмы советского народа, американская серия фильмов *Свидетель: Голоса Холокоста* и роман Арта Спигельмана *Маус: рассказ выжившего*. Рассматриваемые автором примеры раскрывают особенности сложного и порой противоречивого процесса функционирования в публичном пространстве свидетельств о травме, возможностей манипулирования и использования их в коммерческом и художественном производстве.

Иной расклад характеризует ситуацию, когда возможность говорить о травме получает уже поколение «детей», в связи со сменой политического режима, репрессирующего любые формы говорения о случившемся, как это происходит с этнической группой калмыков, подвергшихся депортации в советское время (Эльза-Баир Гучинова «Текст депортации и травмы...», с. 408-438). В статье Гучиновой представлены три поколения калмыков: первое, непосредственно участвующее в трагических событиях депортации, второе – поколение детей спецпереселенцев, третье же составляли внуки ссыльных. Автор описывает то, как незнание родного языка новым поколением приводит к драматическому разрыву преемственности отцов и детей, а создание совместного нарратива истории произошедшего обладает терапевтическим потенциалом восстановления разрушенного единства. Однако, метафора «забытого» языка как нельзя лучше подходит и к приводимой в статье ситуации художественного воплощения опыта отцов в противоречивом романе-комиксе Арта Спигельмана *Маус: рассказ выжившего*; впервые книга была издана в США в 1986 году на английском языке, впоследствии имела оглушительный успех и была переведена на множество языков («Феномен вторичного свидетельства»). Сын пытается рассказать историю отца такой, какой он ее видит, что вскрывает глубинные противоречия и непонимание между двумя поколениями. Новое поколение как бы лишается возможности говорить на языке «отцов», теряет связь с прошлым в ее глубинном смысловом аспекте, однако, в произведении Арта это не звучит как «привычный упрек в бесчувственности» поколения «детей», но как «констатация невозможности понять случившееся самими выжившими».

Сергей Ушакин во вступительной статье «Нам этой болью дышать...» (с. 5-41) определяет травму как разлом, как невозможность связать воедино три экзистенциально значимых опыта: опыт пережитого, опыт осмысленного и опыт высказанного. Неотъемлемым симптомом травмы является остановка речи – невозможность высказать, описать словами травматический опыт, исцелению же и

преодолению этого кризиса будет способствовать складывание особой ситуации говорения, своеобразного терапевтического контекста, лояльного к травма-нарративу. Иногда ситуация невозможности говорить разрешается в неожиданном ключе, история обретает форму танца (Елена Рождественская «Словами и телом...»), когда экспрессивный язык тела замещает в привычном понимании рассказ о травме: мы видим, как Лина – больная раком героиня Рождественской – в пластике и жестах переживает и преодолевает свою боль, усталость и отчаяние. Так и писатель Аркадий Гайдар в статье Марии Литовской «Оружие и амуницию держать в полном порядке...» (с. 73-107) показан как нарративное продолжение внутренней войны пережившего военную травму Аркадия Голикова, взявшего творческий псевдоним Гайдар, а его произведения обретают значение персонального терапевтического времени, слова кодируют следы травмы, замещая ее прямое описание метафорой художественного текста.

Однако, окружение далеко не всегда является располагающим и благоприятным, особенно это касается событий общественного масштаба, затрагивающих большие группы людей, ставших его жертвами. Вступая на территорию социального интереса, нарратив травмы попадает в разряд идеологических текстов, не получая возможности свободного выражения, поэтому аутентичный и стихийный травма-нарратив может быть искусственно заменен на более удобную и безопасную клишированную версию события. Так и в статье коллектива авторов Сюзан Ульберг, Пауля Харта и Селесты Бос «Длинная тень беды...» (с. 247-275) делается акцент на том, что государство, по сути, является одним из игроков на символическом поле «после катастрофы», наравне с другими борющимся за установление той или иной версии случившегося.

Эта тема несколько иначе раскрывается в статье Сергея Мирного «Чернобыль как инфотравма» (с. 209-246). Автор заключает, что попадая в экономическую и символическую зависимость от устоявшегося дискурса катастрофы, ее участники-жертвы не получают спасительной возможности выхода за пределы травма-процесса: становясь необходимым элементом цикла воспроизведения сценария трагедии, они становятся ее заложниками, усиливая негативные последствия случившегося. В случае с терактами, произошедшими в Театральном центре на Дубровке (Ким Лейн Шеппели «Двойной счет...», с. 276-305) в силу политической уязвимости ситуации, жертвы трагедии были ограничены в своем желании нарративного признания масштаба произошедшего. Описывая зал суда как потенциально значимую площадку публичного говорения и выстраивания предельно объективной – в силу характера самой юстиции – и честной картины произошедшего в процессе рассмотрения дела, автор пишет о печальной тенденции к разрешению подобных вопросов в досудебном порядке, когда дело о компенсации решается до его открытого обсуждения в зале суда.

Исключая человека из политического, а значит и публичного дискурса наиболее значимого для него опыта – события, разделившего жизнь на до и

после – система оставляет его один на один со своей болью, загнанного в угол своими страданиями и страхами. Однако и в этой ситуации находятся стратегии преодоления, когда внутри жестких формальных ограничений самими жертвами конструируются смысловые лакуны, малые жизненные миры, закрепленные в практиках памяти и коллективной скорби. В статье «Вместо утраты...» (С. 306-345) Сергей Ушакин показывает, как в ситуации полной финансовой, политической и информационной изоляции группа матерей погибших в армии в мирное время обращается к ресурсам коллективного действия, создавая целостное сообщество, внутри которого осуществляется вокализация травматического опыта утраты. Сообщество, конституирующее свою идентичность и удерживающее свои символические границы за счет постоянной репрезентации своей утраты, составляет «социально, географически и дискурсивно изолированную» публичную сферу, замкнутость которой позволяет разделяемым всеми эмоциям свободно циркулировать внутри зоны комфорта. Выход за пределы этой жестко артикулированной зоны угрожает не только символической целостности сообщества, но также его физическому существованию и деятельности. Для людей, у которых «нет родины»,¹ построение негативной идентичности, целостности вокруг травмы и утраты является единственным выходом, основным мотивом единства. Единство боли позволяет подобной негативной идентичности органично вписаться в культурный ландшафт постсоветской жизни, заменяя некогда единое общество локальными и глобальными сообществами утраты.

Зачастую дискурс травмы в современном мире становится объектом манипуляций, а уязвимость посткатастрофического сознания для идеологических призывов к борьбе создает благоприятный фон для проведения агрессивной политики. Трагедия, произошедшая в США 11 сентября 2001 года, стала символическим ядром целой политической операции, переросшей в ожесточенную, крайне затянувшуюся и неэффективную войну (Гайятри Чакраворти Спивак «Террор: речь после 9-11», с. 864-900). Локализованный в формации судебного дела и предельно расширенный до категории войны с террором политический дискурс после 9-11 не способен дать разумного объяснения последовавшим после трагедии событиям. Феноменологический опыт травмы был разобран на газетные цитаты, фотографии, призывы политиков. Другими словами, произошедшая музейфикация события постепенно вытеснила его за рамки живого процесса политики и памяти.

Стремление общества предать забвению трагедию, вернуться к ритму нормальной жизни, зачастую вытесняет тех, кто «не в силах забыть» за пределы самой жизни: экзистенциальная катастрофа, символическая смерть и крушение целого мира отдельного человека заставляет его осмысленно покидать территорию «выживших». Самоубийство как единственный доступный способ разрешения конфликта травматического опыта увиденного и необходимости жить дальше выражен в историях трех разных людей, рассказанных ими самими на

страницах статьи Светланы Алексиевич «Время Second Hand...» (с. 439-470). Истории героев Алексиевич показывают не только невозможность забыть или вытеснить произошедшее из памяти, но и сознательное нежелание и отказ от подобного действия. В данном случае рассказ о трагическом событии выступает как попытка выражения истины, непризнанной забытой или непринятой обществом. Так же, как и ветеран вьетнамской войны, отказывается принимать лекарства от мучающих его кошмаров, потому что он «должен оставаться памятником погибшим друзьям» (Кэти Карут, «Травма, время и история», с. 561-581), люди, пережившие катастрофу войны, лагерную жизнь являются носителями истории, «в полной мере им не принадлежащей».

Противоречия, возникающие на обломках истории после травмы, в жизни отдельного человека или целой нации настолько многообразны, что их трудно описать и на девятистах страницах одной книги. Это книга для вдумчивого неторопливого изучения, и хотя читается она на одном дыхании, к ней нужно возвращаться еще и еще, ведь в ней сталкиваются порой противоположные точки зрения, разворачиваются серьезные дискуссии. Впечатляет разнообразие представленных жизненных контекстов в тех темах, к которым обращаются авторы в своих работах. Книга знакомит читателя с общими положениями теории травмы, представленной с позиций различных акторов процесса, а разница методологических подходов и ракурсов зрения позволяет увидеть проблему во всем многообразии ее смысловых нюансов. Теория травмы предстает как универсальный многослойный теоретический конструкт, чрезвычайно важный в условиях современного мира. При этом о травме не повествуется как о замкнутом пространстве катастрофы: авторы обращаются к возможным путям выхода из сложившейся ситуации, концентрируясь на успешных примерах создания благоприятного терапевтического контекста, пытаются разработать универсальные позитивные сценарии преодоления.

1 Oushakine S., *The Patriotism of Despair: Nation, War, and Loss in Russia* (Cornell University Press: 2009), p. 2

Светлана Шакирова. *Когда боль становится тождественной воздуху...*

Травма: Пункты: Сборник статей/Сост. С. Ушакин и Е. Трубина. (М.: Новое литературное обозрение, 2009), 936 с.

Я принималась за чтение этой книги в несколько приемов. И до сих пор не завершила чтение... Надо признаться, это не совсем легкий труд. Возможно, больше из уважения к редакторам антологии (Ушакин и Трубина) и обещания редактору данного журнала, начинаю я этот текст. Надеюсь, другие два рецензента оказались более выносливыми и подтвердили анализу все составляющие антологию тексты. Спасибо им за это.

Итак, *Травма: пункты*. Очевидно, название сборнику дал Сергей Ушакин, это в его манере играть смыслами в названиях работ (ср. *О муже Нственности* (2002), *Поле пола* (2007) и др.). Игра слов на этот раз отсылает, скорее, к двухтомнику *Семейные узлы: модели для сборки* (2004), ведь в сочетании слов «травма» и «пункты» важнее, скорее причинно-следственная связь между словами, а не их сумма как медицинское учреждение. Именно пункты травмы, траектория посттравматического отслеживается и анализируется в тридцати текстах о войне, смерти, терактах, катастрофах, насилии, ревности, клевете и др.

Антологию открывает предисловие С. Ушакина (хорошее теоретическое вступление в тему, обширный корпус источников), в котором трижды обыгрывается образ боли: «когда боль становится тождественной воздуху», «боль-как-воздух» и «боль, которой нельзя дышать».

Приступим к краткому обзору статей. Странно, что первой редакторы поставили статью американки Бэт Холмгрен о родительской не-любви в романе Авдотьи Панаевой *Семейство Тальниковых*. Это типично литературоведческий текст, добротный и в меру интересный. На ум приходит параллель с недавней публикацией на ту же тему - разоблачительных мемуарах дочери Галины Щербаковой.¹

Следующая статья - Марии Литовской «Оружие и амуницию держать в полном порядке». Войны А. Голикова в текстах А. Гайдара». Вначале рассказ вызывает острое неприятие и осуждение известного советского писателя, затем автор дает описание его позитивной роли в воспитании читателей, оправдывая его жестокость в молодости искуплением вины через творчество. Работа полна сочувствия и понимания личной трагедии Гайдара.

Текст Елены Рождественской (Мещеркиной) поначалу не интригует. Приходится продираться через концептуальные построения, при несомненной эрудиции и опытности автора. Сам нарратив прост и безыскусен. Медсестра Лина, два брака, танцы, рак. Анализ сложен и по-мещеркински интеллектуален. Перформанс с ведром, водой, кактусами и веревкой кажется немного инородным. Хотя понятно, что для женщины, проявляющей себя в модерн-дансе, это орга-

нично. Анализ танца не менее сложен, чем анализ нарратива. Тройная травма: в детстве Лина пережила двойное убийство отчимом ее бабушки и предыдущего отчима. Позднее травма от узнавания своего диагноза - рак лимфатических узлов. Травма от фразы знакомого за чтением Библии: «Я вас убью».

Автор объясняет это так: «история жизни Лины имеет следствием тройкой способ объективации ее телесности. *Во-первых*, с феноменологической точки зрения — это испуганное тело, тело-аффект, лишенное своего собственного повествовательного языка в результате пережитых свидетельств смерти (возможной и реальной)... *Во-вторых*, объективация телесности нашей биографантки связана с контекстуальной средой ее жизни, которая выстраивает поле и границы коммуникации». *В-третьих*, мы имеем дело с патологией тела, болеющего раком, и, соответственно, с поиском личностного смысла болезни...».²

Статья завершается выводом: «В итоге те травмы и, как следствие, коммуникативные ограничения, которые составляют суть раннего детского опыта нашей рассказчицы, высвечивают особую значимость тела как коммуникативного ресурса, когда возможность *показать* пережитое жестом и движением тела становится равнозначной (если не более важной) способности передать пережитое словами».³

Следующий текст французских социологов анализирует травмы Второй мировой войны во Франции. Девочка, чья мать изменяла с немецким солдатом - она же пожилая женщина в лечебнице, не разговаривавшая с психоаналитиком целый год, прежде чем начала говорить о своей травме. Небезынтересен сюжет о феномене детей Треблинки, привезенных в Англию к Анне Фрейд на реабилитацию. Любителям и знатокам психоанализа, этот текст, думаю, понравится. Но меня больше волнует вопрос о качестве перевода: он не везде хорош (например, «Она застала мать стремительно покидающей немецкого солдата»)⁴ Местами содержание ускользает от понимания читателя из-за буквализма переводных конструкций. Один пример: «Когда сумасшествие, в свою очередь, видит психоанализ милостиво предложенным идеологией момента, оно знает, что это предпринято с целью уничтожения открытия Фрейда, точнее говоря, измерения переноса, в котором история родословной аналитика не могла быть устранена».⁵

На мой взгляд, украшением и смысловым ядром антологии являются несколько текстов, без которых *Травма: пункты* были бы «просто сборником». К ним относятся, в первую очередь, статья Елены Трубиной о восприятии темы ГУЛАГа в современной России, пронзительные истории, собранные Светланой Алексиевич, статья трех шведских авторов о гибели парома *Эстония*, статья Сергея Мирного о Чернобыле, исследование экономической цены теракта на Дубровке Ким Лэйн Шеппели и статья о смерти поэта Надсона американца Роберта Весслинга.

Статья Е. Трубиной ставит вопросы, с особенной силой проявившиеся, например, и накануне празднования 65-летия Победы в ВОВ. Действительно, медиа-поток историй о войне, бессчетное количество экранизаций, та гламурность, с которой происходит перезагрузка недавней истории, дает основания исследователям (и не только им) констатировать, что «увековечивание ... бросает вызов и этической бесчувственности, и эстетической чувствительности публики». ⁶ Более того, «сосуществование в публичном пространстве и в индивидуальной и семейной памяти старых и новых коллективных травм сопровождается пролиферацией и размыванием сообществ, которым репрезентации этих травм так или иначе адресованы». ⁷ Трубина отмечает, что сегодня «травмы словно конкурируют между собой за общественное внимание», ⁸ и отсюда их символическое обесценивание (для молодежи, прежде всего). Трубина проводит не просто глубокий анализ работы памяти, этики и морали памяти, но ставит честный диагноз коллективного бессознательного нулевых годов, которое двигалось «от вершин перестроечной мемориальной энергии к радостно стагнирующему плато современности, от бережно сохраняемых в конце 1980-х журналов («Детям покажу, в какое время жил!») до индифферентно-ленивого пролистывания сегодняшнего глянца». ⁹

Работе памяти в нашем обществе характерна «смертельная серьезность», считает автор. Между тем, «дань уважения прошлым жертвам может быть отдана по-разному (...) не только и не столько посредством тривиализующих случившееся, устаревших эстетических подходов, сколько (...) сложными для восприятия, но отмеченными личным желанием отозваться на коллективные травмы». ¹⁰ В ряду таких произведений упоминаются фильм *Шоа* реж. К. Ланцмана, Еврейский музей в Берлине и другие произведения концептуального искусства.

В целом хочется выразить Е. Трубиной уважение за в меру плотный текст, который интересно читать, за хороший баланс теории и иллюстративности, за ясный авторский посыл и моральные акценты.

Статья о пароме *Эстония* написана в стиле социологии чрезвычайных ситуаций. Авторы отмечают, что «вопрос о том, что делать с затонувшим судном и не поднятыми со дна телами, стал центральным в работе памяти о катастрофе *Эстонии*». ¹¹ Показана активность общественных групп памяти в Швеции, их конфронтация с правительством, решившим залить обломки парома бетоном и объявить место трагедии братской могилой. В целом, текст написан ясным языком, убедительно, без психоаналитического тумана.

Статья Светланы Алексиевич называется «Время second-hand (частные подробности одного ритуала)». Три устные истории, которые никого не оставят равнодушными. Первая история – о бывшей узнице АЛЖИРа, дочери «врага народа», прожившей в зоне и детдоме с четырех месяцев до двенадцати лет. О попытке суицида во взрослом возрасте, о драме непонимания ее сыном, который остро ненавидит СССР, в то время как ее воспитали в духе преданности Ста-

лину. Вторая история повествует о травме молодого мужчины, совершившего попытку суицида в армии. Третья – о русской беженке из Сухуми, которая постоянно думает о смерти. Три страшные истории, в каждой из которых ведущей травмирующей инстанцией выступает Государство.

В статье С. Мирного говорится о долговременном деструктивном эффекте *информационного загрязнения* в связи с чернобыльской аварией. Экологические аварии современности протекают по следующему сценарию: «взрыв, пожар, физическое / химическое загрязнение — информационное загрязнение — реакции социума». ¹² При этом наибольший ущерб наносят *вторичные и третичные* факторы, охватывая большие пространства и группы людей на длительное время. Преодолеть эту травму, считает Мирный, значит «избавить себя и общество от болезненного заикливания на прошлом». ¹³

Заслуживают положительного отзыва также статья Эльзы Баир-Гучиновой о депортации калмыков во время Великой Отечественной войны, подробное исследование Роберта Весслинга «Смерть Надсона как гибель Пушкина» и юридически скрупулезный анализ Ким Лейн Шеппели экономической и социальной цены последствий теракта на Дубровке.

В противоположность им, теоретичная работа Эрика Сантнера по репрезентации травмы может показаться не столь увлекательной. Думаю, знаменитый спор историков Германии о Второй мировой войне можно было бы дать и в более увлекательной форме. Из текста читатели узнают о фильме *Heimat / Родина* (1984), снятом в Германии в противовес американскому фильму *Холокост* (1978), который, как считают, не просто лишил немцев истории, но отравил их историю.

Не менее теоретичен (что порой становится знаком скучного профессионализма, увы!) текст знаменитой Шошаны Фелман о деле О. Джей Симпсона. «Здесь *две* травмы — травма расы и травма пола — были противопоставлены друг другу в состязательной структуре аргументации адвокатов — для того чтобы спутать и радикально усложнить и *восприятие травмы*, на исцеление которой суд должен быть нацелен, и сам вопрос о том, *кто же был жертвой* в этом деле: поруганная и убитая жена или напрасно осужденный черный муж? Поэтому в центре суда — *две* формы виктимизации и издевательств (расовая и сексуальная). Каждая из них парадоксальным образом вступает в соревнование и использует свой гнев и боль для того, чтобы оспорить притязания другой на справедливость; *две травмы* парадоксальным образом пытаются пересилить друг друга; каждая травма пытается подавить противостоящий ей голос другой травмы». ¹⁴ Парадокс в том, что белые американцы считали, что Симпсона оправдали, потому что он богатый и черный, а черные были убеждены, что его обвиняли только за то, что он черный и богатый...

К числу интересных статей можно отнести и текст Катерины Мерридейл о лечении травм и контузий в России XX века, и работу Элизы Мусаевой о

поисках смысла выживания в Чечне, и классический текст Кэти Карут «Травма, время, история».

Однако размеры рецензии не бесконечны, а желание отметить положительным откликом каждого автора вряд ли работает на идею объективности и критичности рецензента.

Верно одно: Сергею Ушакину и Елене Трубиной удалось сделать, действительно, ценную Антологию Травмы как междисциплинарное исследование одного из самых сложных феноменов современности. Перефразируя известное высказывание М. Цветаевой о любви, можно, пожалуй, сказать, что вся жизнь человека делится на три фазы - ожидание травмы, переживание травмы и воспоминание о травме.

Попробуйте с определенностью ответить, в какой фазе находитесь в данный момент Вы?

Если не получится, открывайте *Травма: пункты* и ищите ответы...

-
- 1 К. Шпиллер, *Мама! Не читай... История одной болезни*, http://zhurnal.lib.ru/s/shpiller_e_a/mamanechitay.shtml
 - 2 Е. Рождественская (Мещеркина), «Словами и телом: травма, нарратив, биография», *Травма: пункты. Антология*, под ред. С.Ушакина и Е.Трубиной (Москва: Новое литературное обозрение, 2009), с.129-131.
 - 3 Там же, с. 132.
 - 4 Ф. Давуан, Ж.-М. Годийер, «История по ту стороны травмы», перевод Е.Трубиной, там же, с. 138.
 - 5 Там же, с. 167.
 - 6 Е. Трубина, «Феномен вторичного свидетельства: Между безразличием и «отказом от недоверчивости»», там же, с. 176.
 - 7 Там же, с. 175.
 - 8 Там же, с. 189-190.
 - 9 Там же, с. 183.
 - 10 Там же, с. 205.
 - 11 С. Ульберг, П. Харт, С. Бос, «Длинная тень беды: общественная и политическая память о катастрофе», там же, с. 269.

- 12 С. Мирный, «Чернобыль как инфотравма», там же, с. 245.
- 13 Там же, с. 246.
- 14 Ш. Фелман, «Слепота закона и ее формы, или Свидетельства невидимого. Травматические нарративы и юридические повторы в деле О. Джей Симпсона и в «Крейцеровой сонате» Л. Толстого», там же, с. 521.

Наталья Загурская. Травматизмы и травматологии
Травма: Пункты: Сборник статей/Сост. С. Ушакин и Е. Трубина. (М.: Новое литературное обозрение, 2009), 936 с.

Сергей Ушакин в очередной раз порадовал гендерных исследователей масштабным сборником, разметив, таким образом, ещё один участок безграничного «поля пола». Но если сборник *Поле пола* в гендерном отношении исходит из бодрейяровских концепций совращения и симуляции, то *Травмапункты* вполне соответствуют лакановской традиции в гендерных исследованиях и обращаются к проблематике несимволизируемой гендерной травмы посредством такого вхождения в символический порядок языка, которое оформилось во множество входящих в сборник текстов, переводных и оригинальных. Статьи объединены в пять тематических разделов, каждый из которых включает в себя как теоретические, так и полевые исследования. Раздел «Память боли» посвящен анализу повторения травматических переживаний, «вторичных свидетельств» и «пост-памяти сыновей»; раздел «Сообщества утраты» посвящен анализу нарративов травматического, строящихся по логике «воображая травму, изображая жертву»; раздел «Настоящее прошлого» посвящен анализу теоретических «моделей травмы», её репрезентациям и возвращениям, можно сказать, времени *second-hand*; раздел «Истории распада» посвящен анализу разрыва содержания и выражения травматического; раздел «Работа скорби» – связи индивидуальных и исторических травм, а последний выражено гендерно маркированный раздел «Разломы речи» – «расцельняющей» символической терапии травмы.

В предваряющей сборник вступительной статье «Нам этой болью дышать»? О травме, памяти и сообществах» Ушакин обращает внимание, что событийность травмы активизирует не столько эмоциональную археологию, сколько эмоциональную идентификацию, когда «боль становится тождественной воздуху» (с. 7). Так подчёркивается невозможность субъекта или сообщества

отмежеваться от травматического, необходимость и продуктивность работы с ним. Со ссылкой на Доминика ЛаКарпу (если можно говорить, что в таком объемном сборнике чего-то недостаёт, так это переводов именно его знаковых работ, а также работ Йорна Рюзена и других исследователей травмы в историческом контексте), Ушакин предлагает ещё одну систематизирующую материалы сборника и исследования травматического в целом матрицу: травма как опыт утраты, травма как символическая матрица и травма как консолидирующее событие. Эта матрица с психологической точки зрения выглядит хронологической: зияние после травматического разрыва восполняется символически, а затем это символическое наполнение становится основой для терапевтического общения, структурирующего провал и позволяющего избежать невротизации, в том числе и исторической. Невыразимые же травматические воспоминания не позволяют структурировать воображаемые сообщества, в том числе гендерные, вынуждая к бесконечным изображениям жертвы.

Но травма реального всегда скрыта, как замечают психоаналитики Франсуаза Давуан и Жан-Макс Годийер в «Истории по ту сторону травмы», травма с трудом концептуализируется – говорит только «синий цветок» невинности; в результате травмированный может полноценно общаться только с травмированным же: образно говоря, травма с травмой говорит. В остальных случаях, по словам Ушакина, «о содержании травмы здесь можно судить лишь по её “рваным” краям – симптомам» (с. 30). Ситуация, когда травма «вырезается» из памяти, становится зиянием зияния, не позволяющим символизировать травматическое самим травмированным, которые лишаются права на самовыражение, а образовавшаяся дискурсивная пустота становится пустотой возвышенной идеологии. Елена Рождественская в статье «Словами и телом: травма, нарратив, биография» ещё раз обращает внимание на то, что в отличие от мучителей, жертвы насилия «едва могут об этом говорить» (с. 109). Речевые стратегии мучителей также разворачиваются в узком русле между «надеждами на катарсис и невозможностью искупления» (с. 176), как замечает Елена Трубина в «Феноменах вторичного свидетельства». Кроме того, эти стратегии дискурсивно организуют ансамбли способов (не)видения (с. 361), на которые обращает внимание Хосе Аланиз в статье «Особенности национальной смерти: хоспис в России».

Молчание жертвы объясняется тем, что у неё не формируется феноменальное тело; вместо него формируется исключительно лишённое речевого аппарата тело-аффект, расщепленное и «множественное», готовое к экстремальным ситуациям, но не приспособленное к повседневной жизни. Отцовская инстанция в таком случае разрушается, а материнская воспринимается исключительно в своём мортальном аспекте как Леди Смерть, которая появляется на полях сражений и к которой взывают в последний час.

Статья Гайатри Чакраворти Спивак «Террор: речь после 9–11» в контексте сборника воспринимается как поиск новых возможностей для символизации в

ситуации, когда возникает «*физическое* ощущение *символической* недостаточности» (с. 35). Это ощущение может компенсироваться спонтанно и достаточно вычурно – семантический коллапс вызывает композиция из капсул с родины погибших в афганской войне (с. 341). Не случайно Ушакин в статье «Вместо утраты: материализация памяти и герменевтика боли в провинциальной России» даже и не пытается анализировать такую компенсацию, ограничиваясь дискриптивными описаниями и предъявлением фото. Ещё один впечатляющий пример такого рода мы обнаруживаем в статье Джулиет Митчел «Травма, признание и место языка»: «язык был <...> тайным, но реальным театром карнаваловых соблазнов. Слова обладали физическим качеством, часто они являлись половыми актами» (с. 795). Особенно эта проблема становится очевидной после знакомства со статьёй Ирины Сандомирской «Мир наизнанку, жизнь на ощупь: история маленькой О.» о знаменитой советской слепоглохой О. И. Скороходовой, где, напротив, в ходе работы с травмой возникает показательное саморедуцирующееся *cogito*, речевые стратегии которого управляются скорее синтаксически, чем семантически и существуют только до и после языка как такового.

В статье «Длинная тень беды: общественная и политическая память о катастрофе» Сюзан Ульберг, Пауль Харт и Селеста Бос описывается стратегия восполнения символической недостаточности в «терапевтических сообществах» – «объединениях людей, которые возникли в порыве эйфории, вызванной осознанием того, что они не одиноки в своей борьбе за выживание» (с. 257). Такого рода сообщество является основой почти всех социальных общностей. Но, напротив, не все «терапевтические сообщества» оформляются символически. Ким Лейн Шеппели в статье «Двойной счёт: рассказы и расчёты после теракта на Дубровке» обращает внимание на то, что «законы обещания», как правило, остаются «обещаниями закона», а травма символически не компенсированной. Как показывает Эрик Сантнер в статье «История по ту сторону принципа наслаждения: размышления о репрезентации травмы», с психоаналитической точки зрения такая компенсация невозможна принципиально, поскольку особенности либидинальной нагрузки утраченного объекта наделяют его сверхценностью и обуславливают перманентное возвращение к травматическим воспоминаниям по принципу там/тут. С другой стороны, именно эта особенность эксплуатируется профессиональными жертвами, желающими повысить свой символический капитал, культивируя «нарративный фетишизм», скажем, «мифемы» Родины как точки отсчёта конфигурирующего повествования. Если, как показывает Кэти Карут в статье «Травма, время и история» жуткое всегда чрезмерно и именно этот избыток вызывает *flashback*, то «нарративный фетишизм» подразумевает нагнетание этой избыточности. В противном случае сопротивление тела-аффекта повседневности приводит к утрате смысла выживания. Элиза Мусаева в статье «Жизнь после жизни: Записки о поисках смысла выживания в Чечне» пишет о том, что жертвы хотят забыть о насилии, но это возможно только при смене ста-

туса, когда жертва становится актором и, соответственно, генератором смысла. Обращение к логотерапии здесь дополняет психоанализ, позволяя заполнить экзистенциальные бреши и избежать влечения к экстремальному как симптоматике посттравматического стресса. Кинонарративы, как обращает внимание Елена Барабан в статье «Война в кино: одиночество травмы на фоне коллектива», также демонстрируют принципиальную индивидуальность травмы и необходимость личных усилий по её семантизации, текстуальных поисков утраченного как работы скорби. Здесь мы снова сталкиваемся с пределами символизации травматического. В статье Андрея Щербенка «...Взгляни на Ленина, и печаль твоя разойдётся как вода»: эстетика травмы у Дзиги Вертова» анализируется идеологическая пустотность «мифемы» Ленина как советский способ преодоления этих пределов.

Как видно, объекты исследования в сборнике весьма разноплановы – в поле зрения авторов попадает травматический опыт детей николаевской России и бурного начала 20 века, жертв концлагерей и чернобыльского взрыва, терактов и локальных войн, хосписов и геноцидов, дуэлей и репрессий.

В этих материалах, помимо прочего, нам важно прочертить несколько линий гендерной концептуализации травмы. Женские травмы в сборнике в большинстве случаев так и остаются несимволизированными, что обнаруживает специфику уязвимости женского и опасность навсегда остаться травмированной жертвой, потому что мужские травмы в нем выглядят более явными и одновременно более оформленными. Являлась ли такая маркировка сознательной стратегией редактора? В любом случае, по мнению Марии Литовской в статье «Оружие и амуницию держать...», писатель Аркадий Гайдар становится врачом для А. П. Голикова. В целом мужская травма, как это представлено в сборнике, всегда в каком-то смысле является образцовой – как травма А. С. Пушкина или Надсона в статье Роберта Весслинга «Смерть Надсона как гибель Пушкина: образцовая травма, медийная смерть и поэт больного поколения». Образцовая травма, в свою очередь, всегда в какой-то мере является инфотравмой. Особенно показательна в этом плане чернобыльская инфотравма, которую именно в этом ключе анализирует Сергей Мирный в статье «Чернобыль как инфотравма». Чернобыль функционирует как идеальный пустотный идеологический объект, представляющий широкое поле для идеологических манипуляций, а его жертвы, как и А. С. Пушкин в качестве главной жертвы традиционной русской культурной идеологемы, героизируются. Голливудский кинематограф Кажу Силверман в статье «Историческая травма и мужская субъективность» также рассматривает как попытку противостоять «идеологической усталости» (пользуясь терминологией Зигфрида Кракауэра).

Особенности женской травмы исследуются в статье Елены Гаповой «Любовь как революция, или «Несмотря на Грамши» Полуты Бодуновой» – это «травма, связанная с невозможностью женского субъекта добиться означаива-

ния в некоторых ипостасях, считаемых первостепенными» (с. 841). Пример эсерки Бодуновой в статье представлен как показательный в плане понимания патриархатности идеологии как таковой и женского разочарования в левых движениях. Именно поэтому, по мнению Спивак, женскому движению как сопротивлению патриархатным символическим структурам «нужно по крайней мере слово *террор* <...>. Без слова террор всё, что делается якобы во имя женщин, не может быть узаконено» (с. 876). Ушакин отмечает, что при внешней структурированности тексты самой Спивак представляют собой семиотические теракты против патриархатного символического порядка, когда этическое прорывает эпистемологическое. Можно специально продумать вопрос о том, как женская «множественная травма», если использовать терминологию из вступительной статьи Трубиной, как травма физическая, расовая, гендерная и пр., репрезентированная в сборнике, коннотирует с женским «множественным оргазмом», репрезентированном в многочисленных публикациях в популярной медиа-среде.

Не случайно Шошана Фелман в статье «Слепота закона и её формы, или Свидетельства невидимого. Травматические нарративы и юридические повторы в деле О. Джей Симпсона и в «Крейцеровой сонате» Л. Толстого» анализирует ситуации, в которых мужская и женская травмы «парадоксальным образом пытаются пересилить друг друга; каждая травма пытается подавить противостоящий ей голос другой травмы» (с. 521). Это ситуация, в которой обнаруживаются принципиальные онтологические бреши закона и пределы символической компенсации травмы, а также значение акта прощения.

Невозможно в одной рецензии обратиться к многочисленным и объемным материалам сборника – это действительно пункты травмы, не всегда складывающиеся в цельную картину, что само по себе демонстрирует «множественность травмы». Но отзвуки знакомства со сборником, несомненно, будут присутствовать в исследованиях гендерной и смежных проблематик. Хотелось бы надеяться, что сборник станет событием на постсоветском интеллектуальном пространстве.

Денис Иоффе: Маруся Климова. Моя теория литературы (СПб.: Гуманитарная академия, 2009), 256 с.

Одна из счастливых представителей петербургского эстетического декаданса, неутомимая соратница Тимура Новикова (маска то ли травестийной белочки, то ли тигренка фестиваля *Темные Ночи*), одна из редакторов уникального журнала *Дантес*, утонченная переводчица французских литературных текстов (от Селина до Батая и Гийота) Маруся Климова выпустила новый книжный экзерсис, непосредственно занятый теорией литературы (или обещающий эту занятость). Упреждая заблуждение некоторых читателей, следует сразу же отметить, что *теорию* как таковую в книге обнаружить довольно трудно. Тех, кто рассчитывает получить представление о взглядах Маруси на, скажем, теорию карнавального дискурса ждет неотменимое разочарование. Теории литературного карнавала книга де-факто не содержит, зато в ней могут быть подмечены едва ли не все признаки *самого карнавала* как такового. Впрочем, кого этим сегодня можно удивить... Маруся Климова никоим образом не является двойником Михаила Бахтина, скорее она могла бы стать одним из сюжетов его книги о Рабле.

Начальная часть книги отдана на откуп всевозможным «коммунистам», «большевикам» и, шире, Достоевско-образным «бесам», говорить о которых автор сочла необходимым, дабы оттенить всю страшную каверзность нашего теперешнего бытия «вне времени» и вне пространства. В течение всего нарратива книги Маруся ведет речь о «фильмах-катастрофах», о «растоптанных цветах зла», поднимая в очередной раз всю вековую проблематику тематического добра и его, так сказать, актуального восприятия. С известной периодичностью автор использует некий особый прием остранения – гротескное противопоставление ценностных аспектов всякий раз живописуемого феномена.

Подчас провокативная странность утверждений оказывается не совсем прозрачна: к примеру, все спектакли, согласно Марусе, якобы (во всем мире?) проходят «в абсолютно пустых залах» (стр. 15). Хотя вполне очевидно, что в эпоху господствующего типа всеобщей экономики театры подобного типа просто не могли бы эмпирически существовать, будучи хронически тотально свободными от публики во всех своих спектаклях.

Вместе с тем, в согласии с Марусей, «безграничная простота средств занятия литературой» есть неизменно твердый залог ее форматной вечности, что кажется абсолютно справедливым: «*я готова допустить, что люди могут совсем перестать читать книги, однако это вовсе не означает, что они когда-нибудь перестанут их писать*».

По мере развития книжного повествования мы узнаем, что русский консервативный философ Константин Леонтьев может претендовать на роль некоего «кумира» ее души. Это, правда, оказывается довольно странный кумир, впавший в маразм, как признает Маруся: ибо, с горечью сообщает она, Леонтьев на

старости лет подался к монахам. А все служители культа, попы, монахи, да и вся религия, как и все религии, для Маруси суть лишь не более, чем некая бессмыслица говорящей пустоты: хотя быть вполне уверенными в такой позиции автора мы не можем, ибо все еще может, в конце концов, легко повернуться на 180 градусов.

Позиция Маруси по отношению к религии знаменует особого рода «пустотность» ее душевного восприятия по отношению к тому, что может быть обозначено как «уверенность в невидимом» (по Апостолу Павлу). Маруся, как очевидно, в невидимом далеко не уверена.

Приходится отметить, что (возможно) чуть более взыскательного и рафинированного писателя могут немного покоробить довольно странные в стилистическом измерении слова плана «опустить на бабки», «до фи́га и больше», «хоть жопой ешь», «блин!», «фигачить», и т.п., каковые скорее ожидалось бы увидеть в текстах для «современных подростков» эпохи горбачевской перестройки.

Понимая всю трудность сооружения адекватного описания книги-в-целом посредством короткого текста форматной рецензии, мы бы хотели, тем не менее, попытаться привлечь внимание потенциального читателя к основным узлам этого небезынтересного тома, цитируя наиболее характерные «смысловые» фрагменты, которые способно выделить «просвещенное прочтение». Рискуя преувеличить с деталями, не можем, вместе с тем, отказать себе в удовольствии привести нижеследующий отрывок, едва ли не наитипичнейший в плане построения (и устройства) Марусей всего нарратива в ее книге. Автор сообщает такую антропологическую (антропофагическую) историю: *«... еще более ужасный случай из жизни маньяка, который в молодости был довольно-таки привлекательным и пользовался успехом у баб. Он обожал смотреться в зеркало и готов был заниматься этим часами, но однажды вдруг обнаружил у себя на лбу морщинку и ужасно расстроился. Тут-то он и понял, что нужно ему с этим что-то срочно делать, иначе морщин будет все больше и больше и скоро он весь ими покроется, превратившись в убогого старика. А ему хотелось во что бы то ни стало остаться молодым и красивым. В результате он женился на какой-то умственно отсталой тетке, которая практически каждый год рожала ему по ребенку. Ну а он этих младенцев потрошил и съедал самые, по его мнению, важные для омоложения органы: печень и сердце. Кроме того, он неизменно присутствовал при родах и первым делом заглатывал плаценту, так как где-то прочитал, что именно ее добавляют в наиболее дорогие и эффективные кремы для лица. Таким образом, он сожрал внутренности пяти или шести своих собственных детей, чьи трупы сжег в ближайшем лесу. Еще он постоянно пил молоко своей жены. Короче говоря, все эти меры привели к тому, что он в свои сорок семь выглядел на двадцать и по-прежнему очень нравился девушкам. У него вообще была мечта: прожить до ста тридцати двух лет, а если получится, то и больше. Но ничего не вышло, так как слабоумная жена в припадке ревности зарубила его топором».*

Насколько можно судить, этот колоритный эпизод указывает на вполне характерный пример всего тематико-стилистического метода автора. В отношении (некоторых) непосредственных «источников» написания, фундировавших марусин текст, едва ли не самая болезненная проблема-укор, могущая быть вмененной ей как автору (в том числе как «автору-персонажу») заключается в том, что она не только частенько смотрит российское телевидение, но даже не стесняется об этом писать в книге. Кто, однако, без греха? Кто может запустить в нее в данной связи булыжником из давидовой пращи? Как утверждал в свое время один жизнетворческий персонаж нашей повседневности, «каждый, каждый, хотя бы раз в жизни, но послал».

Говоря об уникальности Маркиза де Сада в смысле некоторой неудобной невозможности его сочувственного морально-озабоченного использования (как позитивного примера для подражания) одержимыми «моралью» потомками, Маруся, как ей видится, справедливо подмечает (стр. 106): *«А вот в России, к сожалению, писатель, которого сегодня любой кретин не смог бы привести в пример окружающим в качестве образца для подражания, до сих пор так и не родился».*

Подобная эскапада выглядит, скажем прямо, довольно специфически абсурдно, если припомнить имена уже явно родившихся Мамлеева и Радова, Сорокина и Могутина, Баян-Ширяева и Масодова. Интересно, кому из тех «моралистов» («любой кретин») у автора здесь, очевидно, своего рода перевернутый эвфемизм для именно этой категории), о которых ведет речь Маруся, может действительно придти в голову привести вышепоименованных авторов в качестве некоего позитивного примера для окружающих? Ведь совершенно неясно, чем же их текстуальные работы с точки зрения «конвенциональной морали», эстетики и «господствующего этоса» отличаются от де факто превозносимого ею в этом плане де Сада. (Безотносительно к «эстетической ценности» вербальной продукции этих авторов, их «этологическая» корневая близость с радикальным аморализмом того же де Сада, как кажется, вполне очевидна). В ответ на это разумеется, Маруся может возразить: мол, никого из вышеперечисленных писателями не считает и считать не умеет, – вынося *Шатунов* и *Последний субботник* за пределы русской словесности. Все это, разумеется, возможно. Как допустимо полагать, предположим, роман *93!* достойным для всеобще-моральных нужд «любого кретина». Или же его кроулианского автора – «еще не родившимся», то есть бесплотным мейринковым духом из свободно-радийной Праги. Это, конечно, ее право, ибо вольному воля. Птица рождена для полета ибо.

Как проницательный читатель (и почитатель) Маруси мог бы догадаться, в томе несомненно, наличествует инфоративная и очень проникновенная главка о Жане Жене. В ней Маруся, в частности, сообщает, что *«...со многими своими жертвами Жене познакомился через Кокто, у которого было довольно много состоятельных знакомых. Как-то в ожидании ужина в гостях у одного из них*

он стащил в гостиной с камина старинную шкатулку, наполненную разными кольцами, серьгами, бусами и браслетами. Но потом, придя вечером к себе в гостиницу и обнаружив, что все драгоценности в шкатулке поддельные, Жене пришел в настоящую ярость. 'Ну и ну, — завопил он, с отвращением бросив шкатулку на пол, — а еще изображают из себя порядочных людей! Сходи, сейчас же и верни им все', — приказал он своему юному другу, сопровождавшему его в тот вечер».

Укажем, что и в дальнейших марусиных описаниях жизнетворческая эксцентричность Жене, отчасти известная по различным дошедшим до нас мемуарам, раскрыта вполне подробно и убедительно. На языке русских блоггеров, к чьему числу принадлежит также и Маруся Климова, это называется «зачот». Главка о Жене завершается на пронзительно оптимистической ноте (уже не парижской, но все еще марроканской): *Жене просил, чтобы его похоронили в Марокко. Его могила находится на скале над морем. С одной стороны расположена тюрьма, а с другой — публичный дом. Незадолго до смерти он как-то сказал: 'Большая часть жизни проходит в дурацком оупении, в убогом идиотизме: открываешь дверь, зажигаешь сигарету... В жизни человека бывает лишь несколько проблесков. Все остальное — серая мгла'*».

Как и следовало бы ожидать, особое место в архитектурном замысле книги занимает, разумеется, глава о Селине — едва ли не самом «значимом» авторе для Маруси. Она сообщает:

«в 1942 году Селин и Люсетт собрались провести лето в Сен-Мало, как они это обычно делали, но немцы им запретили, и они отправились в Кэмпе, в психиатрическую лечебницу, которую возглавлял знакомый Селина, доктор Мондэн. Последний был страстным любителем живописи и каждую ночь отправлялся на этюды, а утром возвращался сияющий от счастья, неся под мышкой очередное абсолютно черное полотно. Его жена периодически предпринимала попытки выброситься из окна, а больные прислуживали за столом и на кухне. Одному из них, ранее разрезавшему свою жену на мелкие кусочки, обычно поручалось разделявать на кухне мясо».

Марусины описания селиновских будней неизменно эффектны и предельно колоритны, сообщая флер маниакального аутентизма развертывающемуся биографическому нарративу. Эти описания, как представляется, должны быть формально интересны даже для тех, кто не входит в (не столь уж малое) число истинных поклонников сумрачной лиры этого мастера. Читаем у Маруси: *«в датской тюрьме Селина постоянно подвергали как физическим, так и моральным пыткам. Ему сообщали, что его освобождают, одевали, сажали в автобус, а потом привозили обратно в тюрьму. Не менее часто ему приходилось выслушивать известие о том, что сегодня он будет расстрелян. Селин потерял в тюрьме 20 килограммов, поэтому его поместили в тюремную больницу. Он*

лежал там за ширмой, и когда рядом с ним умирал пациент, должен был звонить в специальный колокольчик, после чего приходили санитары и забирали труп».

Жизнетворчество шоковой бытописательности встает здесь, как певал знаменитый коллега автора по «культурному» Ленинграду подпольных времен, «в полный рост». Маруся действительно, как говорится, умеет *двигать собой в полный рост*, хотя бы с помощью селиновской даймонической топки, очень удачно нашедшей свой приют в ее теле.

Стоит также указать, что не менее важное и по-своему «особое» место в книге отведено яркой главе о Тимуре Новикове, озаглавленной вполне характерно: «Гений пустоты». Тимур Петрович был гением места, таким странным гением-Локи (не Бальдром) призрачного Петербурга; в сущности, тоже – своего рода фигурой пустоты. Как экстатически заметила в свое время замечательная амстердамско-московская поэтесса Людмила Ходынская:

РА

няет

ночь

фигуры

пустоты

Раскрытыми

насквозь глазами

и отп-

Равляет их

пасти стадами

бесчисленных пустынных

снов

пасёт Пастух -

фигуРа пустоты

Тот сон египетский в ночи – сон

каменный

вне вре

меня

Сфи

нкс...

Возможно, подобного рода *слепым* загадочно-египетским сфинксом петербургской ослепляющей ночи и бытовал выдающийся сновидец русского постмодернизма Тимур Новиков – одна из по-настоящему малоразгаданных фигур декадентского ренессанса девяностых годов прошлого столетия. Его скульптурная косматая голова и ослепительные цвета некоторых его светоносных работ воскрешают в памяти сложносочлененную эстетику Древнего Египта, фараоническую ипостась культовости, придавая сакральный обертон этой транс-

грессивной эстетике. Маруся сообщает читателям: *«слепой художник продолжал активно участвовать в художественной жизни, создавать картины и коллажи, снимать фильмы – ситуация, что ни говори, достаточно необычная. Отныне Тимур не только словами и действиями, но всей своей жизнью наглядно демонстрировал окружающим: если критики, зрители и эксперты давно уже ничего толком не понимают и не различают, то и самому художнику тоже совсем не обязательно как-то особенно напрягаться, чтобы творить – позволительно вообще ничего не видеть. Если так можно выразиться, Тимуру удалось преодолеть легковесность современного искусства, доведя ее до абсолютного предела и, тем самым, сделав вполне осязаемой и весомой. И действительно, я никогда больше не встречала человека более легкого, чем Тимур. Столь явственно легкого. И, вероятно, поэтому ему гораздо лучше давались разные публичные акции, чем работа с холстом и другими материальными объектами. Даже его устные выступления при переводе на бумагу много теряют».*

Подобные рефлексивные описания автора, несомненно, добавляют понимания и приращивают смыслы, необходимые в деле осмысления природы новиковского культурного праксиса.

Нам уже доводилось писать о феномене Новикова,* в контексте триумвирата достославных имен – Новиков-Курехин-Цой, где каждый из участников по мере сил работал «в своем направлении», и вместе с тем, на макро-уровне и в некоем высшем глобальном смысле был вовлечен в своего рода общеустроительный проект, верховным жреческим куратором коего был именно Тимур Петрович.

В книге Маруси присутствуют также вполне занимательные макабрические повести о безудержных героях маньяках Советской России, типологически житийно входящие в традицию деяний Жиля де Рэ – одного из примечательнейших персонажей мировой клинической истории. В плане этого имени стоит упомянуть и такое наблюдение. Как может показаться, внутри Маруси Климовой бушует своего рода неиссякающая теомания – некая остервенелая война на уничтожение и истощение, полноформатная борьба и «духовное» соревнование с недарвиновским Богом. Она как бы кокетливо примеряет на себя чумовую роль демиургического чина, лик Самого единоватора Библии, вкупе с полным карнавальным отрицанием самой идеи Церкви Христовой (каменной Скалы, на которой Петр подвижнически строил здание этого учреждения). Как было замечено выше, Церковь у Маруси неизменно сращена с некоторой неприятной «пустотой», ненужным институтом дурного (со)общества, кретинским клиром, где все активные священники – суть не более чем фигурные служители Пустоты, возведенной в ранг нешведского Абсолюта.

* См. мой текст по адресу: <http://www.russ.ru/Kniga-nedeli/Timur-Novikov-i-ego-strategii-zhizni>

О прочих впечатлениях от книги: немного неясна мотивация (сегодня) довольно обескураживающей частоты упоминания нелепого слова «Литинститут» во всем тексте книги Маруси. Ведь очевидно, что это богоспасаемое заведение и его нынешние (или прошлые) выпускники, кажется, ни у кого не вызывают абсолютно никаких значимых эмоций, или какой-то особой «позиции». Разве мало существует на свете разнообразных «факультетов ненужных вещей»? На все никакого Домбровского не напасешься. На этом фоне непрекращающаяся ирония негатива по адресу этой давно (думаю, более двадцати лет назад) утратившей свою значимость, усопшей в бозе «советской» институции кажется, все же, немного странной. В моде, как мы знаем, бизнес-школы Стенфорда, а не есинские мышинные гнезда. Не менее, отметим, дик и странен марусин бесконечный разговор о так называемых «совписах». Какое нынче тысячелетие на дворе? Казалось бы, стоит признать, что никаких «читателей» (кроме исключительно желтых) сегодня по сути как бы особо и нет, и что *писатели* себя интересуют исключительно сами. Как и так называемые «русские поэты», на московских «вечерах» своих бунимовиче-фестивальных или любых других кузьмино-чтений внимающие друг другу в основном исключительно сами-по-себе (как качелли) то есть – своими, так сказать скромными физическими силами, ибо сторонней, выживающей в наличествующей экономике празддно-публике они все глубоко фиолетовы. В смысле неинтересны, скучны, ничтожны, ненужны, натужны и бессмысленны в своей претензии неизвестно на что. У какой-нибудь другой, еще более «буржуазной», «публики» имеются на лаптопах видеоклипы старой аноректической ведьмы Мадонны, или же гораздо более молодой детопроизводительной кобылки Бритни, или просто резво крутятся занятные слайды ползающей в малиновых стрингах, безнадежно шампански пьяной Пэрис Хилтон. Какие уж тут писатели-поэты? О чем, как говорится, «весь царьградский базар»? Вместе с тем, вполне верно замечает Маруся, возможно, исчезнут все читатели, но уж писатели – авторы точно не исчезнут никогда. Писать будут ибо. Как же иначе? Как не писать, если *не писать* значит умереть?

Отметим еще, что некоторые умозаключения Маруси могут, думается, немало шокировать всех тех, кто по возможности не допускает зерна стебового карнавала в почву мозга: «...среди архитекторов и вовсе чаще, чем в других видах искусства,» пишет Маруся, «можно встретить **уж совсем откровенных дегенератов**, так как им приходится иметь дело даже не с актерами, а строительными рабочими и прорабами. У скульптора должны быть сильные руки, а у архитектора – практичный ум, доходчивый лексикон и желательно еще физиономия кирпичного цвета. Иначе с рабочими и поставщиками стройматериалов ему будет сложно найти общий язык, а это вообще чревато тем, что построенное им здание рухнет кому-нибудь на голову».

Проблема тут, разумеется, не в самой постановке вопроса – что, мол, все архитекторы (во всем мире или только в России?) обычно суть откровенные

дегенераты, – но в том, насколько вообще адекватно марусино представление о собственно специфике работы («ремесла») тех, о которых она говорит. Ведь далеко не всякий, так сказать, *архитектор* ведет переговоры с поставщиками стройматериалов или, не приведи господь, «рабочими». Здесь закадровый эффект карнавализирующего стеба сильно притормаживается, как нам видится, за счет несколько ущербного представления о самом простом базисе эмпирической природы говоримого. Ведь не так уж дьявольски весело, когда *карнавальный стебарь* принимается истерически глумиться над, допустим, профессией «космонавта», по мировоззренческому своему заскорузло-жизненному недомыслию спутав космического работника с, предположим, «водолазом», или «сантехником» и т.п. А что? – внешний вид их буквально заставляет думать о карьерных сходствах... У кого тут четыре глаза? Тот походит известно на кого. Однако, меж водолазом и космонавтом коренится незримо-призрачная, я бы сказал, «мерцающая» или «сонная» лощина «профессионального» несовпадения дискурсов и функций. (Почти как, порою, у прораба и архитектора, у писателя и копирайтера и так далее...) И вправду, природа условно-карнавального высказывания Маруси зачастую остается по преимуществу туманной. К примеру, в такой фразе: «... буквально пару дней назад посмотрела [фильм] *‘Домовой’*: *Маковецкий, в принципе, не так плох, и вообще, присутствуют какие-то проблески, но не более*». Все бы тут, как говорится, ничего, «нормал», но возникает вопрос: кого здесь Маруся промышливает на роль собственно «артиста Маковецкого»? Учитывая тот факт, что сей артист в данной кинокартине участия как бы и не принимал. Видимо, речь должна идти о Константине Хабенском? Если это ненамеренная «описка», то выглядит малоубедительно с точки зрения видимой «прагматики» дейксического высказывания, ибо импликатура ни разу не ясна. А если описка эта намеренная, тогда все становится даже еще (с)мутнее...

Книга завершается весьма интересным рядом афористически заостренных мыслей Маруси, облеченных как обычно в парадоксальную форму «бытового» и «жизненного» опыта и оформленных в качестве некоего «ницшевского потока» вольготной всеглагольности. Ибо дух – он как? Он ведь дышит, где хочет... Здесь можно распознать вполне последовательную эстетико-смысловую систему выдачи аналитических оценок тому или иному деятелю искусства, хорошо знакомую опытному читателю по многим предшествующим эссеистическим проектам Маруси. Весь этот блок жестко финализируется следующим феерическим гносеологическим аккордом, дающим, как можно судить, вполне убедительное представление об истинной силе марусиной системы воззрений на мир и культуру. «Способность воспринимать прекрасное», пишет автор, «имеет так много общего со способностью понимать юмор, что порой кажется, будто человек, наделенный от природы одной из них, может вполне обойтись без другой. Но это не так. Любители трэша подобны блуждающим в темноте, в которую они погрузились в результате внезапно ослепившей их молнии и в поисках ко-

торой они теперь направляют свои стопы. Им кажется, что темнота вот-вот рассеется и они снова увидят спасительный свет. Но тьма уже никогда не исчезнет, так как она поселилась внутри них. Этот свет не ищут – он сам приходит к вам в дом. И только промелькнувшее в кадре хроники лицо Глазунова, присутствующего на концерте Петросяна, позволяет отдельным счастливым, случайно забывшим выключить телевизор, по-настоящему приобщиться к таинству мировой гармонии. Если же теперь хотя бы мысленно представить себе Петросяна на выставке Глазунова, то это зрелище, вместе с только что погасшим на экране кадром, своей магической зеркальной симметрией способно пробудить в душе простого смертного по-настоящему священный ужас».

Отбросив ненужный пафос, хочется отметить, что ради подобного рода утонченных (кроме всех шуток) и многомерных прозрений Марусе можно простить многие из ее «перехлестов»; в частности, лихорадочно «прокрутить» те или иные из ее немотивированных странностей, вроде описаний кирпичного лица дегенеративных архитекторов. Ведь что может быть притягательней лицемерия грибообразной плоти искрометного Евгения Вагановича, вкупе с не менее огневой супругой освещающего своим иступленно-звездатым присутствием новую выставку несравненного Ильи Сергеевича Глазунова: скажем, в Манеже? Что может быть примечательнее и познавательнее? Пожалуй, лишь только Тимур Новиков, навещающий литературный салон Жана Жене, или интернированный Селин, листавший маршальскую книгу жизни Жюль де Рэ...

Сергей Абашин: Касьмова София. Трансформация гендерного порядка в таджикском обществе (Душанбе: «Ирфон», 2007), 230 с.

«Гендерную проблематику» по Средней Азии вряд ли можно причислить к малоизученной проблеме. По крайней мере, если сравнивать с другими темами, то вопрос о том, как жили и живут женщины, является на сегодняшний день едва ли не самым популярным в исследованиях региона. Мода на «гендер» в Европе и Америке, интерес университетов, фондов и международных организаций к этому вопросу и разные формы финансовой и интеллектуальной поддержки извне такого рода исследований создали настоящий бум публикаций о среднеазиатских женщинах (по большей части именно о женщинах, несмотря на то, что «гендер» как бы включает в себя и мужчину). Уже можно насчитать не одну книгу и множество статей (не говоря об особом жанре отчетов по проектам

международных мониторингов), из которых мы узнаём, что с ними происходило в прошлом и что происходит сегодня.

В общем ряду всех этих многочисленных публикаций книга Софии Касымовой выделяется и привлекает внимание не только тем, что она посвящена Таджикистану, не столь избалованному работами, как Казахстан, Кыргызстан или Узбекистан, но и тем, что о среднеазиатской женщине пишет сама среднеазиатская женщина. В общем-то, это тоже не слишком большая редкость и таких авторов в регионе немало. Однако сколько бы их не было, некая интрига — как смотрят на себя и как выстраивают исследовательскую стратегию «местные» учёные — сохраняется и заставляет пристально присматриваться к каждой подобной работе.

Книга состоит из Введения (с.5-18), в котором излагаются методологические предпочтения автора, и трёх глав: «Гендер, власть и социальный порядок» (с.19-72), «Гендерное разделение труда в сфере публичной экономики и домохозяйства» (с.73-137), «Гендер и сфера частной жизни» (с.138-173). Последняя глава включает в себя три самостоятельных раздела: «Гендерное измерение семейно-брачных отношений» (с.138-174), «Полигамные семейно-брачные отношения» (с.175-193), «Традиция и практика многодетного материнства» (с.194-219) — каждый из них является, по сути, отдельной главой. Из перечисленных названий видно, о чём идёт в работе речь, и я не буду пересказывать их содержание по отдельности, а остановлюсь на некоторых общих вопросах — каким образом автор определяет объект и предмет своего исследования.

Самый первый вопрос, который возник у меня, когда я только взял книгу в руки, — почему Касымова выбрала для своего анализа объект, который был назван «таджикское общество» (это выражение в тексте часто заменяется на «таджикский народ»). Она нигде не обосновывает свой выбор и возникает естественное сомнение, а существует ли «таджикское общество», которое можно и нужно анализировать как единое целое? Во-первых, из поля зрения исключены таджики за пределами Таджикистана, что уже делает этническую рамку не совсем последовательной. Во-вторых, таджики на локальном уровне всегда жили совместно с другими группами (узбеками, кыргызами, арабами и др., а в последнее столетие — с русскоязычными жителями региона) и вместе с ними образовывали первичные социумы, где создавались совместные сети и происходил обмен культурным опытом и социальными ресурсами. В книге Касымовой есть упоминания такого рода взаимодействия, но в целом — как проблема — характер и интенсивность этих пересечений и влияний остаются вне поля зрения автора.

В-третьих, «таджикское общество» как единое целое не существует не только потому, что оно пересекается и даже иногда сливается с другими обществами, но и потому что даже в Таджикистане «таджикское общество» неоднородно и разделено внутри себя. Как раз об этом Касымова сама говорит довольно часто, когда

она приводит примеры различий в статусе женщин между разными социальными и региональными группами, между городом и сельской местностью. В книге мы постоянно наблюдаем, что в «таджикском обществе» существуют разные траектории, стратегии, интересы, но тогда непонятно, зачем автор удерживает всё это разнообразие в рамке «таджикскости», зачем она настойчиво (и порой даже нерелевантно) маркирует этническую границу. Это имело бы смысл, если бы Касымова видела в последней некий существенный фактор, определяющий какие-то общие для всех таджиков – и только для них – особенности гендерного поведения и представлений. Но за слишком частым упоминанием этнической принадлежности объекта исследования я не нашёл какой-то специфической и логически выстроенной концепции, объясняющей среднеазиатскую этничность или выводящей из последней какие-то другие объяснения.

«Таджикское общество» (или «таджикский народ») присутствует в книге исключительно как некая цель или ориентир. Автор постоянно стремится сложить из различных фрагментов это целое, увидеть некие черты и характеристики, которые могут быть общими или схожими для всех «таджиков».

Мне же, как «неместному» исследователю, как человеку, который вторгается в среднеазиатское поле извне, этническая рамка представляется лишним и бесполезным грузом для понимания всего того, что происходит с людьми как мужчинами и женщинами. Мне было бы гораздо важнее узнать, что Касымова думает об отдельных социальных и культурных группах внутри этого этнического целого, как специфические черты этих групп реагируют на разнообразные воздействия и как возникает целый веер сценариев и траекторий гендерного поведения. Я бы хотел более чётко разглядеть, например, религиозные группы, их особые способы регулирования брачных отношений, в частности, обычай сословно-эндогамных браков. Я бы хотел увидеть специфическую группу женских танцовщиц (и современных певиц) и понять, как отношение к ним вписывается в гендерные представления местных сообществ. Я бы хотел увидеть более полно душанбинскую русскоязычную элиту, которая, с одной стороны, вроде бы составляет статистическое меньшинство, с другой — диктует политические и культурные моды и вынуждена всегда учитывать своё маргинальное и одновременно доминирующее положение. Я бы хотел за массой безликих «сельских жительниц» увидеть, например, женщин-учительниц или возвращающихся из столицы студенток, понять, как воздействуют школы, индийские фильмы или мобильные телефоны на местные представления и практики. Я хотел бы более детально взглянуть на социальный статус и практики разведённых женщин и вдов, которые, находясь вроде бы в приниженном, неполноценном положении, одновременно как бы выпадают из жёстких гендерных иерархий и могут пользоваться некоторыми привилегиями более автономного и даже свободного поведения. Касымова так или иначе упоминает все эти категории женщин и предлагает интересные наблюдения о них, но её анализ остаётся всегда как

будто неоконченным и анонимным, неперсонифицированным, явно подчинённым задаче нарисовать некую обобщённую, пусть с некоторыми вариациями, «таджикскую женщину».

Любопытно, что используя этническую рамку в определении своего объекта, автор при анализе опирается на методологию, которая провозглашает одинаковые для любых этнических сообществ закономерности развития (экономического, демографического и социального) от «традиционности» к «современности», в частности, неизбежное разрушение патриархальной гендерной иерархии с развитием процессов модернизации. «Разница, – пишет автор, – лишь во времени» (с.10) и очень смело сопоставляет нынешнюю Среднюю Азию с Европой 19 века.

Придерживаясь этой концепции, Касымова рисует картину, в которой «таджикское общество» веками будто бы было неизменным и вдруг проснулось — сначала под насильственным воздействием извне, а потом под влиянием рынка и кризиса. В доказательство тезиса о «многовековом сне» Касымова берёт, в частности, канонические религиозные тексты, находит цитаты из небольшого набора средневековых сочинений и работ советских этнографов и на этом основании реконструирует некий «классический патриархат» вне конкретного времени и вне конкретного пространства. Сам подбор источников, каждый из которых скорее выдаёт желаемое за действительное, вызывает сомнение, не является ли «классический патриархат» изобретением социологов. Ясно ведь, что те минимум две тысячи лет, которые «таджикский народ» будто бы пребывал в исторической летаргии, были наполнены бурными событиями — миграциями, войнами, кризисами и расцветами, происходили столкновения разных практик и представлений, изменения социальных структур, иногда радикальные смены религии и культурных норм.

Приведу пару коротких примеров. Первый: археологи, изучая планировку раскопанных городов в Хорезме (это северо-западная часть нынешнего Узбекистана), приходят к выводу о том, что «структура и размеры семьи» здесь «на протяжении I-XIV вв. не были стабильны: прослеживаются периоды реставрации крупных большесемейных общин и распада их на меньшие ячейки», а иногда господствовали «малые семьи».¹ Изучение похожих процессов по массовой статистике начала 20 века тоже говорит о том (сошлюсь на свою статью), что в некоторых регионах Средней Азии уже преобладала малая семья, увеличение же доли больших и сложносоставных семей в 1950-1980-е годы, видимо, стало результатом советских изменений — резкого увеличения рождаемости и продолжительности жизни, искусственного ограничения мобильности и доступа к земельным наделам.² Совокупность разных факторов могла меняться в прошлом и создавать очень неравномерную историческую динамику типов семьи (и соответственно, семейно-брачных отношений). Как все эти данные включить в линейную схему?

Понятно, что Касымова не историк и это не тема её исследования. Однако она ссылается на историю как аргумент в своём анализе, при этом она заменяет реальную историю социологической схемой, которая начинает диктовать оценки настоящего.

Как только Касымова переходит к советской эпохе и в книге появляется конкретное время и конкретное пространство, а источники становятся более разнообразными и многоголосыми, линейная схема последовательной трансформации от «традиционности» к «современности» начинает расшатываться. Касымова явно затрудняется с оценкой советского времени в выбранной перспективе. Она недвусмысленно пишет, что советская модернизация «была поверхностной и формальной» (с.32, 154), а традиционные (патриархатные) институты и иерархии сохранились, лишь несколько видоизменившись. Но тут же не менее однозначно автор говорит, что «Опыт пребывания в составе СССР привнёс в жизнь таджикского народа значительные (!!) изменения. Некоторые из них имели характер модернизации» (с.32) и перечисляет новые институты и практики, которые появились в результате советских реформ. В другом месте Касымова утверждает, что советская модернизация «не была органичной или выстраданной», «не являлась результатом самостоятельного развития страны», «не была подготовлена всей предшествующей эволюцией таджикского общества», она была привнесена извне» (с.46-47). При этом автор не отрицает, что плоды этой модернизации были усвоены таджикскими женщинами, многие из них стали «союзницами» советской власти, активно участвовали в советских преобразованиях (с.44). Наконец, у неё можно прочесть и гораздо более гибкую и более симпатичную мне формулу: советизация проходила в разных регионах и у разных социальных групп по-разному, с разной глубиной и с разными последствиями (с.43). Наличие в тексте таких разных и иногда даже противоположных оценок, подкреплённых к тому же своей аргументацией и иллюстрациями, запутывает читателя — логика изложения рассыпается, позиция автора теряется. Проблема здесь не в том, что Касымова где-то ошибается в своих характеристиках, а в том, что её многообразный материал не умещается в той простой схеме, которая положена в основу для анализа.

Не больше ясности мы наблюдаем, когда речь идёт о постсоветском времени. В разделах, в которых описывается сегодняшний день, которые наполнены наибольшим количеством живых наблюдений и которые, следовательно, в наименьшей степени зависимы от методологических предпочтений автора, Касымова рисует очень сложную и крайне противоречивую картинку. Мы видим, что существует множество разных сценариев, разнонаправленных тенденций, порой полностью противоположных индивидуальных и групповых стратегий. При этом автор опять — и на мой взгляд безуспешно — пытается втиснуть всё это разнообразие в выбранную ею изначально универсальную схему. Касымова описывает и характеризует гендерные практики и представления главным об-

разом как результат «кризиса» и «выживания». При этом не совсем понятно, как интерпретируется это «выживание». Чаще она рассматривает эти изменения как переходный этап от «традиционности» к «современности» (намекая, правда, что стадия в силу целого ряда особенностей может затянуться). Но в некоторых случаях, она предполагает, что «в благоприятствующей этому ситуации», т.е. по окончании кризиса, общество вернётся к прежним, т.е. «традиционным», практикам (с.84).

Линейный взгляд, делящий время и пространство на «традицию» и «современность», не даёт ей видеть других возможностей и вариантов, например, что «кризис» станет постоянным и длительным явлением и надолго законсервирует социальные структуры, которые не будут полностью ни «традиционными», ни «современными». Касимова могла бы, например, методологически поэкспериментировать с концепциями «постколониальности», «периферийности», «гибридности», «мимикрии», «множественной модерности» и т.д. В этой методологической перспективе смешение разных социальных и культурных практик, которые обычно стадийно противопоставляются друг другу, является не результатом временного состояния («переходного периода», «кризиса» и пр.), а превращаются в особую, если угодно, формацию, особый тип общества, который возникает и существует на окраинах экономически и политически мощных держав. Не скажу, что новые концепции и понятия решили бы все трудности, но, по крайней мере, позволили бы выйти за слишком узкие, на мой взгляд, рамки линейно-модернизационной модели.

В книге Касимовой уже есть все предпосылки для такого методологического прорыва. Пожалуй, наиболее последовательно и полно он виден в разделе о многоженстве. Это единственный раздел, где автор не просто описывает различные практики и представления, но и выступает с критикой европоцентристской точки зрения, приписывающей полигамии исключительно дискриминационный характер. Автор возражает: полигамия является механизмом удовлетворения экономических, социальных и сексуально-эмоциональных интересов женщины, она возникает как очень своеобразный эффект разрушения жёстких семейных иерархий и увеличения числа разводов (с.188-191).

Касимова показывает также противоречивость трансграничной миграции, в которую уже более десятка лет вовлечены жители Таджикистана. Это явление сложно описывать либо как черту «традиционного общества» либо как черту «современного». Мы наблюдаем, что миграция влечёт за собой множество противоречивых эффектов — дестабилизацию семьи и в то время укрепление родственных или локальных сетей, активный выход женщин на рынок рабочей силы и возрастание попыток сохранить гендерную иерархию на нормативном уровне, превращение миграции в постоянный образ жизни и устойчивое восприятие его как временного явления, исключения из правила (с.120-121, 131, 161-164, 167-168). К сожалению, описание и анализ последствий миграции не

приводит автора к пересмотру собственного линейного взгляда на социальные процессы в регионе.

Добавлю, что мне было бы интересно узнать мнение Касымовой ещё об одной противоречивой современной тенденции — о возрастании женской религиозности и, в частности, о возникшей практике ношения хиджаба, о спорах в обществе вокруг этого вопроса, о том, как эта практика сосуществует с социальной мобильностью и какие новые иерархии она выстраивает. Увы, в книге этот вопрос обойдён почему-то почти полным молчанием.

О книге Касымовой я мог бы говорить долго, чем-то восхищаясь и с чем-то категорически споря. Но размеры рецензии — и так затянувшейся — не позволяют высказаться по всем темам, поднятым автором. Приближаясь к завершению, я хотел бы вернуться к сравнению исследовательских стратегий «неместных» и «местных» учёных.

Не секрет, что тон в изучении среднеазиатских женщин задают исследователи со стороны — российские или «западные». Однако по отношению к ним всегда остаётся подозрение, что они не видят и не чувствуют «пальцами» какие-то особенности «несвоего» общества. «Неместные» специалисты приходят с уже готовыми моделями и концепциями и начинают подгонять увиденное и услышанное к заданным схемам. В этих моделях часто можно найти элементы «европоцентристского» и «ориенталистского» высокомерия.

Однако и позиция местных исследователей, особенно тех, кто занимается «гендерной проблематикой», выглядит по меньшей мере двойственной. С одной стороны, многие из них вовлечены в процесс «воображения нации». Большинство — и Касимова не исключение — определяют своё место внутри «нации», стремятся использовать её ресурсы и символы в собственной научной и человеческой карьере, смотрят на происходящее сквозь призму «своей нации». С другой стороны, интеллектуальная и нередко финансовая связь с «женским движением», инспирированным международными («западными») организациями, диктует привязанность и даже веру в неизбежность универсальных законов и ценностей, от имени которых международное «женское движение» обычно ведёт свою деятельность. Обе эти идентичности «местных» исследовательниц сами по себе не содержат в себе ничего нелегитимного, напротив они «нормализуют» Среднюю Азию в современном мире, вписывают в понятную систему координат и задают понятный вектор движения. Однако они несут с собой свои ограничения и предвзятости, которые по-своему формируют исследовательский взгляд, интерес и поиск.

Книга Касымовой для меня — пример, на котором хорошо видно, в каком сложном диалоге находится «местный» исследователь сам с собой, с окружающим его (её) обществом, в котором он (она) живёт, с внешним миром, с которым ему (ей) приходится тесно общаться и сотрудничать. В этом диалоге можно наблюдать столкновение научной интуиции, прекрасного знания и понимания

материала с жёсткими и порой идеологизированными моделями. В нём можно заметить собственные иерархии — доминирование «внешних» авторитетов и попытки «местных» учёных иногда сопротивляться этому авторитету, а чаще стремиться к признанию в игре по правилам. Признаюсь, я с нетерпением жду новых статей и книг Касымовой, чтобы открыть для себя новые стороны среднеазиатской жизни и чтобы понять, что изменяется в видении и оценках этой жизни самими среднеазиатскими интеллектуалами.

-
- 1 Е.Е. Неразик, «Поселения и жилища Хорезма как источник для исследования семьи в I-XIV вв. н.э.», *Семья и семейные обряды у народов Средней Азии и Казахстана* (Москва: Наука, 1978), с.7.
 - 2 С. Абашин, «Статистика как инструмент этнографического исследования (узбекская семья в XX веке)», *Этнографическое обозрение*, 1999, № 1, с.12-14.

*Наталья Загурская. «Всё-таки хорошо, что я не принцесса...»
Ольга Киселева / Olga Kisseleva (Paris: Isthme éditions, 2007), 128 с.*

Каталог работ Ольги Киселевой, сопровождаемый аналитическими статьями Виктора Мизиано и Франсуа Таяда на трёх языках – русском, английском и французском, подробной документацией и библиографией, приятно привлекает своим дизайном, множеством иллюстраций и, кажется, способен вызвать детскую радость у всякого, кто с ним знакомится. Это ощущение подкрепляется самим габитусом Ольги Киселевой, о котором можно получить представление по многочисленным фотографиям, документирующим её акции – ладное телосложение, приятная улыбка, внимательные, лучистые и одновременно глубокие глаза, а также фамилией, которая транскрибируется на английский как Kisseleva. Радость не умаляется тем, что в своих работах Ольга Киселева поднимает самые острые темы.

Эта острота кажется производной от существования на пересечении реальностей, на которую обращает внимание Мизиано в статье «Ольга Киселева: «Вижу, следовательно, существую». Промежуточное существование характерно для культуртрегеров постдиаспоры, пользуясь термином Евгения Фикса, поддерживающих диалог и одновременно сохраняющих дистанцию как с исходным национальным контекстом, так и с новым локальным. «Постдиаспора

суть симптом эпохи глобализации, симптом новой гомогенности мира – когда “первый мир” и “третий мир” перемешиваются между собой, а “мир второй”, хотя де-факто продолжает существовать, объявлен, однако, несуществующим» (с. 19). Зазор между мирами образуется на прорывах острых углов складок их семантических поверхностей, на пределе напряжения сил, их составляющих. Такой зазор уже не маркируется культурно и этически как травматический, поэтому художник уже не описывает симптоматику, а затем ставит диагнозы, а вопрошает и ставит перед выбором. Сомнение в таком случае имеет визуальный характер и превращается в видение, разоблачающее зыбкие реальности в ходе созерцания и анализа, а затем предоставляющее их наглядные свидетельства. Так обнаруживается другой план пересечения реальностей – видимой и невидимой, которые в работах Киселевой пересекаются и могут меняться местами: как в случаях видимых радиоволн или отсутствующих лозунгов. Реальности у Киселевой пересекаются и на многих других планах – это и пересечение непримиримых политических оппонентов, власти и масс, Империи и множества, ей сопротивляющегося, индивидуального и коллективного. Но главным пересечением является «способность увидеть в реальности то, что все примут за фикцию, суть действие, выпадающее из господствующего положения вещей» (с. 23). В отличие от многих других деятелей русской сцены, Киселева не склонна к использованию фатальных трансполитических стратегий, выделенных Жаком Бодрийяром – избыточности, залога и непристойности (*l'obuse, l'otage, l'obscure*). Напротив, здесь скорее уместно обратиться к концепции событийности Алена Бадью, поскольку работы Киселевой становятся действиями, идущими поперёк всем ожиданиям и являются «тихой, лишённой пафоса и риторики революцией» (с. 23). В отличие от многих актуальных художников, Киселева не протестует прямо, осознавая необходимость «адекватности деятельности художника современному миру» (с. 85), на что обращает внимание Франсуа Таяд в статье *ВОСТОК – ЗАПАД: диалог*.

Тихая революция не запускает диалектический механизм господина-раба, а является принципиально диалогической. Таяд особенно выделяет в этой диалогичности геополитический аспект. Правда, удивление вызывает опора на уже не столь актуальный вектор ВОСТОК – ЗАПАД, тогда как, в том числе и во французском контексте, более продуктивным кажется проработка проблематики, связанной с вектором СЕВЕР – ЮГ. Как отмечает Александр Неклесса, после азиатского экономического бума и распада советского контекста, периферией становятся страны южного полушария. В творчестве Киселевой метафорами крайних точек этого вектора становится «кондиционер в Дели вместо жарко натопленного камина в Хельсинки» (с. 89): выставки в этих городах разделяли всего две недели. Уже не восточным, а южным выглядит и проект *Двери*, осуществленный в пакистанской деревне, который представлял собой инсталляцию из двух основных элементов – талибской свадьбы под смоковницей и Киселевой,

почти бессознательно наблюдающей за ней в слегка приоткрытые двери в глухой стене с помощью видеокамеры. В выставочном варианте на это изображение накладываются также видео торопящихся на службу чиновников Европарламента. Особенно же показательно демонстрирует смену вектора проект *Про Полюс* – тотальная инсталляция в музее Арктики и Антарктики

Киселева наблюдает большинство ситуаций с естественной для неё позиции внешнего наблюдателя, не раз совершившего анабазическое восхождение на эйдетические вершины, тем более, что её досуговой практикой является альпинизм. Возможность занять выгодную оптическую позицию связана с предварительным преодолением опасностей, таких как горные обвалы, создание «фресок» в БАМовских вокзалах и пр. В современном глобализованном неолиберальном мире такая позиция оказывается маргинальной – её ощущения отражены в проекте *«Золушка»: реальная сказка* и особенно в проектах *How are you?* и *Where are you?*, интернет-версии которых представляют собой интерактивные базы данных положения или, скорее, ощущения дел в самых различных регионах. Но западная форма этого прогрессивного гипертекста, а также предполагаемая дежурность этих вопросов здесь корректируется острыми содержательными ответами из Югославии, Тибета, Силиконовой долины или Венецианской биеннале. Такая стратегия позволяет обнаружить, что ощущение дел в этих регионах диаметрально отличается от стереотипного представления о них – монах в оккупированном Тибете чувствует мировую гармонию, а предприниматель из Силиконовой долины воспринимает сам вопрос как проявление агрессии.

Тема виртуальной агрессии плавно перетекает в проект *Ex-stream*, основанный на игре значений: *stream* (поток данных) буквально становится основой насилия *ex-stream*'а, которое фиксируется *extremal* (сторонним) наблюдателем. В *Landstream*'е, который осуществлялся в сотрудничестве с учёными физиками, обнаруживается возможность наблюдать и отображать невидимые глазу электромагнитные поля. Однако позиция внешнего наблюдателя у Киселевой в значительной степени корректируется возможностью смены ракурсов. Это мерцание оптических режимов, смещение реальности лучше всего иллюстрируется в проекте *Так далеко, так близко...*, в рамках которого в парижском Центре современного искусства художница воссоздаёт пространство типовой питерской квартиры, которое ретранслируется вместе с веб-дислокацией хозяйки. Дополняющая проект серия этикеток «трэвел кит для путешествия на месте» демонстрирует «неизменность» предметов первой необходимости в любом контексте. Проект продолжается инсталляцией *(Другая) точка зрения* и следующими, в которых лейтмотивом становится возможность обнаружения экзотики на соседней улице и, напротив, прочувствование экзотического как своего собственного. В проекте *Страна чудес* эта проблематика обостряется: моделируя возможные климатические и геологические преобразования в «элитных» городах, мы можем переместить голубую лагуну в окрестности

московского Кремля и легко представить себя в одежде для отдыха на его фоне. Политическое наполнение этого проекта позволяет виртуально деконструировать символ российской властной иерархии, что производит более сильный эффект по сравнению с прямым противостоянием.

Ещё одна оптическая особенность демонстрируется в проекте *Что у тебя с глазами?*, в рамках которого зрителю предлагается обменяться глазами с художницей или убедиться в неизменности взгляда индусов и пакистанцев при замене их лиц. Своё же лицо предлагается привести в согласие с собственными представлениями о нём в проекте *Ваш автопортрет*. И то, и другое представляется одинаково у-топичным, мобильным и предоставляет возможность современной номадической художнице обустраивать онтологический дом в любом пространстве, обнаруживая дверь в него в любом локусе. В этом отношении симптоматичным выглядит участие Киселевой в проекте *Мы – это мир*.

Виртуальное включение в мир дополняется реальным преодолением трудностей экзотических путешествий в проекте *Самолёт*. Этот подход выливается в сотрудничество с Виктором Торджманом, а «интегрирование технологии в объекты повседневной жизни» (с. 91) представляется выражено фемининным, которое производится и симулируется одновременно. Причём само фемининное здесь принципиально номадично. Проект *Москвички* представляет собой серию портретов красивых и раскованных женщин, которые кажутся женщинами лёгкого поведения. Но и здесь репрезентируется фантазматическое фемининное, поскольку, на самом деле, на фото изображены учителя, бухгалтеры, врачи, домохозяйки.

Фантазматика навязанных желаний становится темой ещё нескольких проектов. Это прежде всего проект *Семь смертных желаний*, обнаруживающий важный аспект причин маргинализации. Мечты «трудных» парижских подростков объединяются в семь групп, соотносящихся с католической классификацией смертных грехов. В проекте явно обнаруживается механизм, с помощью которого желание сначала навязывается, скажем, рекламой, а затем становится якорем властных манипуляций. Ещё более явно эта фантазматика демонстрируется в проекте *Powerbike*, где зритель в ходе попытки совершить восхождение по лестнице желаний оказывается белкой в колесе.

Происхождение этой тематики обнаруживается в проекте *Принцесса*, описание которого маркировано в качестве правдивой истории. В ней прослеживаются параллели в судьбах художницы и принцессы Монако. Начиная с различных позиций в подростковом возрасте – подготовки к контрольной работе в советской школе и фестивалю в Сан-Ремо, их судьбы пересекаются в Монте-Карло, где обнаруживается, что более счастливой оказывается художница. Объяснение этому мы находим в документации к проекту *Золушка*. Золушка и её близкие получают удовольствие от творческой работы, но вечером возвращаются в тёмную коммуналку за Обводным каналом, потому что главный казначей считает, что они «и не работают вовсе, а просто развлекаются с утра до ночи!»

(с. 115). Реальность показывает, что актуальна и успешна именно такая стратегия. В документации к *Принцессе* принцесса по крови, которая психологически всегда сильно отягощена электоральной проблематикой, несмотря на выгодные стартовые условия сталкивается со множеством самых невообразимых проблем и остаётся усталой и обиженной. Золушка же, которая в данном контексте наделена творческими способностями в придачу к трудолюбию и способности любить, обретает счастье. Параллелизм этих историй демонстрирует результаты использования различных гендерных стратегий – потребительской по отношению к патриархатному миру и стремлению к творческому самовыражению во всех сферах жизни. И Киселева явно тяготеет ко второй. Приятное впечатление от знакомства с её проектами и данным сборником происходит именно потому, что она ни принцесса, ни золушка в традиционном смысле.

*Барбара Альперн Энгль: Ирина Юкина. Русский феминизм как вызов современности (Санкт-Петербург: Алетейя, 2008), 511 с. (Серия «Феминистская коллекция»)**

Распад Советского Союза в 1991 г. и последовавшие за этим процессы открытия архивов и ослабления государственного академического дискурса способствовали возрождению интереса к истории российского женского движения как за пределами страны так и, что исключительно важно, в самой России.

Уже в последние десятилетия существования Советского Союза появились мужественные ученые, которые предприняли попытки исследовать различные аспекты «женского вопроса» или «женского движения» вне парадигмы «буржуазного феминизма» или «революционного активизма», в рамках которых эта тема рассматривалась в советской историографии, но только после 1991 года эти идеологические барьеры удалось преодолеть.¹ Новая открытость отразилась в последних научных публикациях, как российских, так и иностранных.² Ирина Юкина в числе первых российских историков исследует дореволюционное женское движение, основываясь на появившихся после 1991 года работах социологов, философов и историков. На основе богатых архивных источников, а также опубликованных материалов женского движения она предлагает всеобъемлющую и всестороннюю переоценку российского женского движения России и его достижений с начала Великих реформ и до упразднения женотделов в 1930 году.

* Перевод Джульетты Мирошник

Ставя перед собой задачу восстановить неизвестное прошлое, Юкина пишет для воображаемого читателя, который по большей части не знаком с историей женского движения России. Однако читатели работ Ричарда Стайтса, Линды Эдмонсон и Барбары Альперн Энгл, вряд ли найдут для себя в ее книге слишком много новых хронологических или других деталей.³ Юкина, также как и другие авторы-историки, занимавшиеся данной темой, начинает свое исследование с периода реформ, с возникновения в России женского вопроса и основания первой женской организации, но при этом она рассматривает и более ранний период, фиксируя процессы, отраженные в книгах Жорж Санд и первого поколения русской интеллигенции. Автор подразделяет женское движение на два этапа: первый этап – с 1858 по 1905 год, и второй, феминистский – с 1905 по 1918 годы. Первый этап начинается с появлением женских благотворительных инициатив, сопровождавшихся нигилизмом и включавших в себя борьбу женщин за получение высшего образования, развитие женского радикализма в 1860–1870-х годах, последовавшего за этим спада женского движения в период реакции 1880-х годов с последующим его возрождением в середине 1890-х годов в связи с появлением *Русского Женского взаимоблаготворительного общества*. Второй этап начинается с политизации женского движения в 1905 году. Юкина рассматривает судьбу движения после спада революционной активности 1905 года и пишет о возобновлении гражданского активизма в военное время и триумфе 1917 года, когда женщины, наконец, добились законодательного признания избирательных и других гражданских прав. Эта победа была фактически отнята у женщин в Октябре 1917, а затем большевики реализовали свое видение женской эмансипации, ликвидировав дореволюционное женское движение.

Те читатели, которые в достаточной степени знакомы с историческими работами на тему женского движения в России, не найдут в книге Юкиной каких-то новых подходов к изучению данной темы, новых деталей и интерпретации исторических фактов. Тем не менее, как социолог, имеющий хорошую историческую подготовку, Юкина подходит к изучению движения с методологической строгостью, что вносит серьезный вклад в разработку темы, хотя и создает дополнительные трудности для читателя, не обладающего специальной социологической подготовкой (о чем пойдет речь ниже). Отличие данной книги от предшествующих исторических работ на эту тему заключается в особом внимании к институциональным, структурным и культурным факторам, которые позволяют дополнительно оценить успешность социального движения наряду с такими общепринятыми, конвенциональными критериями успешности, как, например, получение права голоса или права на образование, подтвержденное государством. Эту книгу также отличает четкое определение самого понятия женского движения, а также повышенное внимание к идеям, которые генерировались движением. Женское движение – это движение *женщин в интересах женщин* (курсив мой – Б.А.Э.), настаивает Юкина, а феминизм – это идеология

или философия, которую развивают его члены. Следовательно, хотя книга и отдает дань мужчинам, поддерживавшим движение: таким как Николай Пирогов, Николай Чернышевский, Андрей Бекетов – профессор Санкт-Петербургского Университета, – акцент в ней делается на женском сообществе, женской мотивации, институтах, методах, журналах, идеях, деятельности и т.д.

Научный подход Юкиной позволяет ей прийти к более положительной оценке достижений русского женского движения, по сравнению с общепринятой оценкой большинства западных и российских ученых.⁴ Книга представляет русское женское движение гораздо более демократичным по своим мировоззренческим установкам и по своей организационной структуре, более включенным в социальную жизнь, хотя Юкина признает, что движение черпало свою силу в среде женщин, которых она называет «женщинами образованных средних классов». Она утверждает, что относительное равенство и включенность в социальные проблемы отражают мировоззрение и мироощущение интеллигенции в целом, и, в особенности, их идеал служения народу. Юкина подчеркивает внимание движения к интересам женщин низших классов. Возникая первоначально как благотворительное, к началу 20 века женское движение в России стало концентрировать свои усилия на поддержке той группы женщин, от имени которой оно собственно выступало. Активистки движения работали над повышением самосознания женщин низшего класса для того, чтобы они начали размышлять о своих собственных проблемах и нуждах. В качестве доказательства автор приводит такие примеры как решение жилищных проблем женщин низших классов, материальная поддержка, которую обеспечивали активистки; открытие читальных залов, курсов грамотности. Женщин-работниц беспокоила проблема детских дошкольных учреждений и материнских отпусков для работающих женщин, они также боролись за право на аборт и отмену системы регламентации проституции, которая стигматизировала проституток, но не затрагивала их клиентов. На самом пике революционной волны 1905 года и затем, в ходе Первого Всероссийского Женского съезда в 1908 году активистки движения, по мнению Юкиной, были готовы даже переопределить свои цели в интересах женщин низших классов. За исключением непродолжительного периода после 1905 года, когда некоторые феминистки поддержали ту идею, что избирательным правом должны обладать только женщины, имеющие собственность, они выступали за равенство *всех* граждан перед законом, а не только за равноправие женщин.

Юкина очень точно описывает российское женское движение, как в терминах тактики, так и, что, возможно, более инновационно, в терминах идеологии. Она доказывает, что идеология была необходима для того, чтобы квалифицировать движение как действительно феминистское, чтобы провести массовую мобилизацию и сформировать широкую базу движения, чтобы выработать новую тактику и методы работы. Несмотря на то, что российское женское движение с самого начала ставило своей целью формирование свободной и независимой

женской личности, его идеология, как отмечает Юкина, развивалась только как реакция на политический кризис.

Во время реакции 1880-х гг., движение и его постаревшие лидеры переживали трудные времена. При этом что возможностей для деятельности становилось все меньше, новое, лучше образованное и демократически настроенное молодое поколение девушек – неблагодарный продукт самого движения, высмеивало своих предшественниц за филантропический подход, который осуждался в условиях нового политического климата. Не смотря на то, что внутренняя борьба и деморализация стали прямым и незамедлительным результатом кризиса, более важным его последствием явилось развитие идеологии в результате систематического анализа подчиненного положения женщины, определения неравенства перед законом как первопричины любого неравенства и установка на его преодоление как главной цели движения. Эти идеи, с точки зрения Юкиной, стали движущей силой движения в 1905 году и позже. Они стимулировали создание новых женских организаций, привлекали женщин молодого поколения и создали основу для коллективной идентичности и солидарности, которые явились одним из главных достижений движения. Юкина прослеживает растущее усложнение движения, которое, главным образом, отражалось на страницах феминистской прессы, где авторы обсуждали вопросы о соотношении классовых и гендерных позиций, предвосхищая современные дискуссии, и даже поднимали проблемы лингвистического характера, в частности об отсутствии в русском языке терминов для обозначения женских профессий без переподтверждения стереотипов по признаку пола. Автор также исследует интеллектуальные различия между идеологами российского феминизма. Так некоторые из них, например, Ольга Шапир, подчеркивали различия женщин и мужчин (а не их равенство) и ставили вопрос о том, действительно ли принятие соответствующих изменений в законодательстве является достаточным (цель, которую преследовало движение) для того, чтобы прийти к равенству? Тем не менее, существовавшие расхождения во взглядах, по утверждению автора, не мешали женщинам совместно действовать ради достижения общей цели.

По словам Юкиной, серьезных разногласий между женскими организациями в России не было. В то время как другие исследователи подчеркивают, что именно существовавшие разногласия и отсутствие координации подрывали российское женское движение изнутри. Юкина видит общую озабоченность феминисток по поводу прав женщин и их инициативы в самых различных сферах как фактор усиливающий, а не снижающий эффективность и влияние женского движения. В ходе своего исследования автор фактически исключает Александру Коллонтай из лагеря феминисток, как едва ли не единственную активистку, которая пыталась расколоть феминистское движение. В отличие от таких исследователей как Барбара Эванс Клементс и Беатрисс Фарнсворт, которые, как и Ричард Стайтс и Линда Эдмондсон, представляют Коллонтай до-

революционного периода как (социалистическую) феминистку, выступающую за права трудящихся женщин, Юкина рассматривает Коллонтай, с ее классовыми представлениями о «буржуазном» характере женского движения, как не более чем пешку марксистского движения, возможно, из-за попыток Коллонтай склонить на свою сторону трудящихся женщин, которых уже начали организовывать феминистки.⁵ В своей работе Юкина также не рассматривает ни деятельность Надежды Крупской, ни Инессы Арманд, эволюцию которой от феминизма к марксизму описал Р.С. Элвуд.⁶

Различные достижения и успехи российского дореволюционного женского движения представлены Юкиной на основе анализа приведенных в первой главе социологических подходов. Например, открытие высших учебных заведений для женщин и создание организаций, которые обеспечивали финансовую поддержку этих институтов и студенток из-за отсутствия государственного финансирования, представлено как важное, но далеко не единственное достижение женского движения. По мнению автора, большое значение имело также и то, что на первом этапе женского движения получили развитие женские институты, появились прецеденты женской активности, на основании которых последующие поколения женщин могли строить свое движение и накапливать опыт политического участия. Юкина также обращает особое внимание на такую роль участниц женского движения первого призыва как брошенный ими вызов гендерным стереотипам. Здесь автор не только отмечает влияние главной героини романа Николая Чернышевского *Что делать?* Веры Павловны, но и многих женщин-нигилисток, которые были вдохновлены ее примером и усвоили неконвенциональные роли и нетрадиционную для женщин того времени манеру поведения, подняв вопрос о женской сексуальной свободе. Образцы поведения, которые они предлагали, были впоследствии усилены и развиты в работах женщин-писательниц этого и последующих поколений, уделявших особое внимание женскому опыту и женской чувственности. Вместе с этим, автор доказывает, что женщины-писательницы успешно расширяли границы допустимого для женщины поведения и постоянно меняли методы воздействия на общество. С той же предпосылкой Юкина подходит к оценке женского движения на втором этапе его развития, акцентируя внимание на изменении восприятия общественной и политической деятельности женщин, которое выразилось, например, в расширении поддержки идеи об избирательных правах для женщин, об изменении лингвистической практики словоупотребления, по крайней мере, в среде городского населения. Размышления Юкиной о женском гражданском активизме в годы войны подтверждают выводы Питера Гатрелла (Peter Gattrell) и оспаривают политические аспекты, которые видят другие историки женского движения.⁷ Даже в военные годы, как показывает Юкина, женщины продолжали борьбу за право голоса и за право быть избранным, хотя и на местном, а не на государственном уровне. Эти попытки принесли свои результаты – к 1917 году

сопротивление идее избирательных прав для женщин, которое все еще имело место в среде центристских и левых партий, в значительной степени ослабло благодаря деятельности женского движения, объединенного организационными и классовыми узами, усилиями феминистских организаций и их успешными попытками уравнивать женщин в правах с мужчинами во всех сферах, включая избирательное право.

Однако именно достигнутая женщинами победа посеяла семена поражения. Как только избирательное право было получено, женский союз распался, уступив место конкуренции классовых интересов, в которой различные партии, в особенности большевики и кадеты, имели огромное преимущество. Даже в этих условиях феминистки работали с женщинами, включая работниц и *солдаток*, и внесли свой вклад в создание того, что Юкина называет «коллективной женской идентичностью», преемниками и разрушителями которой стали большевики. Утверждая, что именно феминистки, а не Александра Коллонтай или другие теоретики женского вопроса социалистического направления создали идеологическую основу женского пролетарского движения, Юкина фундаментально оспаривает путь, по которому шла мысль историков Запада, видевших в них зачинательниц политики большевиков в отношении женщин.⁸ Как доказывает Юкина, каждая инициатива, предпринятая новым советским правительством, либо уже выдвигалась Временным правительством, либо фигурировала среди требований феминисток. Коллонтай сама была наследницей раннего движения, в интерпретации Юкиной, и работала в духе его принципов, но на классовой основе, до тех пор, пока партийное руководство перестало быть терпимым к независимому женскому движению, в которое могли трансформироваться Женотделы, и отстранило Коллонтай от руководства. Отняв победу у феминисток и отказавшись от их демократического и непредвзятого подхода, большевики сделали все, что было в их силах, чтобы оклеветать и вычеркнуть женское движение из истории. В конечном счете, отказ от феминистского наследия частично повлиял на крушение режима, заключает Юкина. Женское движение, по ее мнению, так неразрывно связано с достижением современности, что советский строй, обратившись к «патриархальным культурным нормам», продемонстрировал, тем самым, свою полнейшую несостоятельность, выразившуюся в невозможности модернизации Советского Союза. Книга заканчивается кратким описанием диссидентского феминизма 1970-х и начала 1980-х годов, участницы которого, по крайней мере, вначале, восприняли многие идеи и воззрения своих предшественниц, однако при этом не называли себя феминистками и не связывали себя с традициями дореволюционного феминизма, традиционно осуждаемого советской идеологией.⁹

Для того, чтобы сделать эти выводы, Юкина приводит многочисленные доказательства, которые являются одновременно достаточно известными, но в то же время включают новые аспекты. По сравнению с другими историками

женского движения, Юкина уделяет большое внимание роли литературы и особенно литературы, написанной женщинами, в развитии женского движения и его влияния на женское самовосприятие и самоопределение. Так, писательница, демократ и феминистка Ольга Шапир является важной фигурой в книге Юкиной, в то время как Эдмонсон упоминает ее лишь однажды, а Стайтс не упоминает вообще.¹⁰ Юкина использует архивы и малоизвестные публикации с целью создать наиболее полные биографические портреты ключевых фигур женского движения и проследить развитие движения женских клубов после 1905 г, что до нее еще никто не исследовал. Книга изобилует иллюстрациями, впечатляющими портретами лидеров и сторонников движения, как мужчин, так и женщин, фотографиями, относящимися к различным периодам деятельности движения. И эти ее свидетельства неоспоримы. Поэтому, начав свою рецензию с глубоких сомнений в отношении тезиса автора о демократической природе движения и его успехах, я заканчиваю тем, что полностью принимаю эти фундаментальные утверждения, хотя и с некоторыми замечаниями.

В чем же они заключаются? Для того, чтобы доказать свою точку зрения о более широких целях и достижениях движения, Юкина преуменьшает, хотя и не игнорирует, очень существенную разницу в составе, задачах и тактике различных активистских организаций, которая описывается как значимая в работах других историков женского движения, таких как, например, О.А. Хасбулатова и Н.Б. Гафизова.¹¹ Признавая то, что члены движения были выходцами из образованных средних классов, она все же недооценивает классовый характер феминистских организаций и те властные отношения, которые иногда преломляют радиус их действия по отношению к женщинам низших классов. В случае с *Союзом равноправия женщин* и другими женскими демократическими организациями акцент на попытках феминисток выступать от имени своих сестер из низших классов выглядит достаточно убедительным; однако куда мене убедительной представляется ситуация с *Обществом защиты женщин*, например, факты патерналистского отношения к проституткам и «падшим женщинам», которые хорошо описаны у других историков, и которые были не замечены Юкиной.¹² Я нахожу ее пренебрежительное отношение к деятельности Коллонтай в дореволюционные годы неубедительным. Иногда, кажется, что автор слишком увлеченно работала с феминистскими источниками и недостаточно критично их оценила, и в результате они слишком часто служат для нее единственным доказательством успешности в развитии движения. Ключевые аргументы нуждаются в большей доказательной базе. Например, на чем основывается утверждение автора о том, что огромное множество женщин-работниц вышли на известную демонстрацию за получение прав в марте 1917 года? Является ли демонстрация 23 февраля 1917, состоявшаяся вопреки запрету большевиков, достаточным доказательством того, что к 1917 году работницы стали более осознанно относиться к своим собственным проблемам, как к проблемам особой социальной группы, и что это

произошло, как утверждает автор, благодаря, главным образом, деятельности феминисток? На самом деле, активизм женщин рабочего класса начался на много лет раньше и был связан, по крайней мере, отчасти, с появлением для многих из них такого статуса как *солдатка*.¹³ По моему мнению, читателя необходимо было также больше проинформировать о том, чем женская самоорганизация в 1917 году отличалась от подобного рода деятельности в более ранний период, если таковая существовала. В целом, англоязычная социология значительно повлияла на методологию проведенного автором исследования, однако при этом Юкина оказалась не знакома с работами в области русской женской истории, изданными на других языках, которые могли бы значительно обогатить ее книгу. Например, в своей книге Юкина не учитывает исследование Мишель Маресс о женщинах дворянках и собственности, выводы которой бросают серьезный вызов ее представлениям о беспомощности и неосведомленности дворянских девушек, жизнь которых была ограничена семьей в предреформенный период, что могло бы подтолкнуть ее к иному обоснованию природы изменений, происшедших в результате эмансипации.¹⁴ Юкина могла бы также с большим эффектом использовать цитирование иностранных исследований, приведенных в ее обширной библиографии вторичных исторических источников; фактически она не ссылается на зарубежные источники, за исключением введения, в отличие от обильного цитирования российских вторичных источников, которые рассыпаны по всей книге. И, наконец, социологические рамки ее исследования, которые задали структуру и аргументацию книги, являются самым слабым местом работы. Каждая из частей книги построена в соответствии с социологическими категориями: внешние факторы, которые способствовали развитию движения; внутренние ресурсы движения (главным образом человеческий фактор и краткие биографические описания), социальная база движения и т.д. Однако автору иногда бывает нелегко выдержать данный подход, и тогда ей приходится переноситься из одного времени в другое и приводить факты по аналогии, что делает чтение книги достаточно сложным даже для такого глубоко увлеченного и заинтересованного читателя как я. По иронии судьбы, эта проблема имеет сходство с той, о которой пишет Юкина, описывая второй этап женского движения: с проблемой, возникающей в ходе создания участницами движения сложных теоретических текстов, которые хотя и являлись полезными для мобилизации образованных женщин, но были абсолютно непонятны для их сестер из низших классов.

В то же время, несмотря на все приведенные выше замечания, книга щедро вознаграждает внимательного читателя за приложенные усилия, которые действительно необходимы для ее понимания. Эта богатая материалом и провокативно аргументированная книга достойна занять место в библиотеке читателя, интересующегося не только историей женского движения, но и историей других демократических движений России периода поздней империи. Несмотря на то,

что некоторые аргументы автора кажутся мне не вполне убедительными, они в то же время заслуживают серьезного внимания, так как демонстрируют иную точку зрения, бросающую вызов традиционным взглядам, которых придерживаются большинство исследователей (включая и меня), и предлагающую новый взгляд на развитие и место женского движения в истории России.

-
- 1 З. В. Гришина, «Движение за политическое равноправие женщин в годы русской революции», *Вестник Московского университета. Серия: 8, История*. 1982, № 2., с. 33-42; Г. А. Тишкин, *Женский вопрос в России: 50-60-е годы XIX в.* (Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1984).
 - 2 См. Bianka Pietrow-Ennker, *Russlands "neue Menschen" Die Entwicklung der Frauenbewegung von den Anfängen bis zur Oktoberrevolution* (Frankfurt: Campus Verlag, 1999); Rochelle Goldberg Ruthchild, "Women's Suffrage and Revolution in the Russian Empire, 1905-1917," *Aspasia*, v. 1 (2007): 1-35; О. А. Хасбулатова, Н. Б. Гафизова, *Женское движение в России (вторая половина XIX-начало XX века)* (Иваново: Ивановский государственный университет, 2003). См. также очень полезный библиографический справочник: И. И. Юкина, *История женщин России: женское движение и феминизм 1850-е – 1920-е годы. Материалы к библиографии* (СПб.: Алетейя, 2003).
 - 3 Richard Stites, *The Women's Liberation Movement in Russia: Feminism, Nihilism, and Bolshevism, 1860-1930* (Princeton: Princeton University Press, 1978); Linda Harriet Edmondson, *Feminism in Russia, 1900-1917* (Stanford, CA: Stanford University Press, 1984); Barbara Alpern Engel, *Mothers and Daughters: Women of the Intelligentsia in Nineteenth Century Russia* (New York: Cambridge University Press, 1983).
 - 4 В дополнение к Stites, *The Women's Liberation Movement* и Edmondson, *Feminism*, см. О. А. Хасбулатова, Н. Б. Гафизова, *Женское движение в России (вторая половина XIX-начало XX века)*. Также позитивная оценка движения, но основанная на преимущественно биографическом методе, принадлежит Pietrow-Ennker, *Russlands Russlands "neue Menschen" Die Entwicklung der Frauenbewegung von den Anfängen bis zur Oktoberrevolution*.
 - 5 Barbara Evans Clements, *Bolshevik Feminist: The Life of Aleksandra Kollontai* (Bloomington, IN: Indiana University Press, 1979); Beatrice Farnsworth, *Aleksandra Kollontai: Socialism, Feminism and the Bolshevik Revolution* (Stanford, CA: Stanford University Press, 1980); Stites, *The Women's Liberation Movement*, 258-67; Edmondson, *Feminism in Russia*, 77-8, 87-9.
 - 6 R. C. Elwood, *Inessa Armand: Revolutionary and Feminist* (New York: Cambridge University Press, 1992).
 - 7 Peter Gatrell, *A Whole Empire Walking: Refugees in Russia During World War I* (Bloomington, IN: Indiana University Press, 1999), p. 115-127.

- 8 См. особенно Stites, *The Women's Liberation Movement* и Wendy Z. Goldman, *Women, the State and Revolution: Soviet Family Policy and Social Life, 1917-1936* (New York: Cambridge University Press, 1993), 1-58.
- 9 Татьяна Мамонова – одна из тех, кто принял название феминистки. См. Alix Holt, "The First Soviet Feminists," in *Soviet Sisterhood: British Feminists on Women in the USSR* ed. Barbara Holland (London, UK: Fourth Estate, 1985), p. 237-265.
- 10 Edmondson, *Feminism in Russia*, p. 100.
- 11 О. А. Хасбулатова, Н. Б. Гафизова, *Женское движение в России (вторая половина XIX-начало XX века)*, с. 109.
- 12 См. Laurie Bernstein, *Sonia's Daughters: Prostitutes and Their Regulation in Imperial Russia* (Berkeley, CA: University of California Press, 1995), p. 189-232; Gatrell, *A Whole Empire*, p. 121, p. 123.
- 13 Barbara Alpern Engel, "Not by Bread Alone: Subsistence Riots in Russia during World War I," *Journal of Modern History* 69, 4 (December 1997): 696-721 and Sarah Badcock, "Women, Protest and Revolution: Soldiers' Wives in Russia during 1917," *International Review of Social History* 49 (2004): 47-70. О женском активизме в годы русско-японской войны см. П. П. Щербинин, *Военный фактор в повседневной жизни русской женщины в XVIII-начале XX века* (Тамбов: Изд-во Юлис, 2004), с. 215-217.
- 14 Michelle Lamarche Marrese, *A Woman's Kingdom: Noblewomen and the Control of Property in Russia, 1700-1861* (Ithaca, NY: Cornell University Press, 2002).

Марина Кашина. Даешь гендерное образование! (или ответ гендерных психологов эссенциалистам).

Гендерная психология. Практикум, 2-е изд., Под ред. И. С. Клециной (СПб.: Питер, 2009), 496с. (Серия «Практикум»).

Будучи социологом, я не могу претендовать на оценку Практикума по гендерной психологии по строгим дисциплинарным критериям. Но поскольку, как отмечено в аннотации, «данное практическое пособие адресовано преподавателям вузов, читающим курсы и спецкурсы по гендерной тематике ... и всем тем, кто интересуется гендерной проблематикой или хотел бы с ней познакомиться», я буду излагать свою точку зрения как человека интересующегося предметом.¹

Первое, о чем следует сказать, это то, что данное издание Практикума – второе. Первое вышло в том же издательстве *Питер* в 2003г., тиражом 3 тыс. экземпляров и разошлось очень быстро, поэтому сделали дополнительный тираж – еще 3 тыс., его тоже раскупили. И вот спустя 6 лет выходит второе издание – улучшенное и дополненное – и тоже не маленьким, по нынешним временам, тиражом – 2,5 тыс. экземпляров, причем по инициативе самого издательства *Питер*.

Сегодня в России переиздается либо очевидная классика, например, *Стратегия социологического исследования* В. А. Ядова, либо то, что пользуется спросом и хорошо продается. Большинство серьезных книг по гендерным исследованиям были изданы в нашей стране при финансовой поддержке различных фондов, в том числе западных, и в специализированных издательствах, например, Алетейя или *РОССПЭН*, в силу чего Практикум следует отнести в разряд изданий коммерческих, которые интересны широкой публике и поэтому являются самокупаемыми. Как мне кажется, это хорошо, поскольку разрушает стену отчуждения, непонимания и исключенности, которая очень часто окружает в России все, что связано с гендерными исследованиями и феминизмом, в связи с тем, что воспринимается нашим общественным мнением как инспирированное Западом и западными «оголтелыми» феминистками.

В этом отношении Практикум безупречен. Он написан исключительно отечественными психологами и исключительно на отечественном материале. Скажу больше, костяк авторского коллектива составляют сотрудники лаборатории гендерной психологии, созданной на кафедре психологии человека психолого-педагогического факультета Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена (Санкт-Петербург). Лабораторией много лет руководит доктор психологических наук, профессор И. С. Клецина, она же выступила редактором и автором ряда глав Практикума. Конечно, в списках литературы, которые есть к каждой главе,² присутствуют работы западных авторов, при проведении занятий используются адаптированные западные методики, например, пентаграмма Сержа Гингера. Но главное содержание, основная масса практических примеров, ситуации для анализа – наши, отечественные. Особенно ярко это видно в главе 8 «Детская художественная литература как институт гендерной социализации», где в качестве практических материалов для пробного гендерного анализа взяты тексты Пушкина, Михалкова, Успенского, хорошо известные всем с детства. То же самое относится к главам по гендерной социализации, гендерным ролям и стереотипам. Авторы Практикума убедительно доказывают, что у нас в России есть гендер, гендерные отношения и все, связанное с ними, и западные феминистки здесь не причем.

Мне кажется, что одна из причин того, что понадобилось второе издание Практикума, заключается в том, что люди узнали в книге себя, своих знакомых и свои проблемы. В этом смысле Практикум способен сыграть роль не только

учебника для высшей школы, но и букваря для взрослых. Букваря не в смысле учебного пособия для самых маленьких, а Букваря как средства ликвидации неграмотности, с которой в нашей стране было успешно покончено в 1920-е годы (и это безусловное достижение Советской власти).

Теперь немного о структуре и содержании самого Практикума. В книге четыре раздела. Первый раздел – «Введение в гендерную психологию». Это знакомство читателей с терминологией, которое позволит больше не путать гендер с тендером,³ а также гендер с полом. Очень важна в этом разделе глава 3 «Взаимосвязь биологических и психологических характеристик личности: гендерный аспект». Гендерные психологи ведут неустанную борьбу с эссенциализмом традиционных психологов, которые считают гендерные характеристики врожденными, а значит, неизменными. Важно понять, что если гендерные характеристики нельзя менять, то гендерное неравенство следует признать природным, а не социальным. С природой, как известно, спорить бесполезно, значит, ни к чему все эти разговоры о выравнивании возможностей гендерных групп в трудовой сфере, о создании партнерских отношений в семье, об отказе от манипулятивных практик в межличностных отношениях и т.д. Человеческая природа неизменна, мужчины никогда не смогут рожать, а значит, все эти разговоры о гендерном равенстве выеденного яйца не стоят, считают эссенциалисты. Для понимания теории социального конструирования гендера эта глава, безусловно, ключевая, не освоив ее, бессмысленно двигаться дальше.

Новацией, по сравнению с первым изданием Практикума, стала глава 5 о связи феминизма с гендерными исследованиями в психологии. Это вообще не просто, выносить теоретические темы на практическое занятие, но авторы Практикума попытались это сделать, и их цель «сформировать более позитивный образ феминизма в сознании студентов» (с.99), безусловно, заслуживает поддержки.

На самом деле, это тоже примета времени. Очень медленно и постепенно, но российское общественное мнение все-таки начинает избавляться от страха (если не сказать идиосинкразии) перед феминизмом. И авторы Практикума при изложении теоретического материала во Вводных замечаниях этой главы верны себе. Они рассматривают российский феминизм и русское женское движение второй половины 19-нач. 20 вв. как предпосылку отечественной гендерной психологии, говоря о том, что «вопреки существующим в обыденном сознании представлениям о феминизме как сугубо западном явлении, чуждом российскому менталитету, женское движения в России имеют свою, достаточно длительную историю» (с.96-97).

Вводные замечания к каждой главе, вообще следует признать отдельным достижением Практикума. Формально, по жанру, Практикум – это сборник практических занятий к отдельным темам курса по гендерной психологии; по сути, по содержанию, получился мини-учебник, потому что каждое занятие

предваряет очень сжатое, но насыщенное изложение сугубо теоретического материала. В сложных или дискуссионных темах оно может занимать от 10 до 12 страниц текста, например, к главе 10 «Школа как институт гендерной социализации» или к главе 19 «Гендерная компетентность личности». Эти Вводные замечания вполне могут стать основой не только для подготовки и проведения практического занятия, но и для лекции.

Раздел II «Гендерная социализация» является центральным в книге, рассчитанной не в последнюю очередь на педагогов. Как приобретается гендер, как становятся люди мужчинами и женщинами, как включены в этот процесс основные институты социализации – семья и школа, как формируются коллективные и индивидуальные представления о мужском и женском, и какую роль в этом играет детская и классическая художественная литература – обо всем этом идет речь во втором разделе Практикума.

Есть здесь и тема, вызывающая живую, порой ожесточенную, дискуссию между гендерно ориентированными психологами и теми, кто разделяет традиционные взгляды. Это тема раздельного обучения мальчиков и девочек, его плюсы и минусы (глава 10). Важно, что авторы Практикума не просто критикуют традиционную гендерную социализацию детей в школе, они предлагают свое альтернативное видение проблемы, концепцию психолого-педагогического воспитания гендерно-несхематизированных детей (глава 12. «Воспитание современных девочек и мальчиков»).

Еще одна новация, по сравнению с Практикумом первого издания, глава 7 о родительстве. В качестве одной из форм занятия в ней предлагается проведение дискуссии «Возможно ли счастливое отцовство?» Сама формулировка вопроса может поставить неподготовленного читателя в тупик, потому что традиционное распределение гендерных ролей «мужчина-добытчик, женщина-хранительница домашнего очага» вообще не предполагает наличие у мужчины роли воспитателя и его участие в повседневной заботе о детях.

В третьем разделе Практикума «Гендерные характеристики личности», как, впрочем, и во всей книге, отчетливо видна интенция к самопознанию. Читатель не просто знакомится с новым материалом, но встраивает его в какие-то собственные глубоко личностные взгляды и представления. Любая книга по психологии интересна прежде всего возможностью лучше разобраться в самой(ом) себе и своих проблемах. Рецензируемый Практикум дает нам возможность понять, почему мы стали именно такими женщинами и мужчинами, что именно сделало нас такими.

Главная тема третьего раздела – гендерная идентичность, что это такое, как ее можно исследовать и измерять. Основной сюжет – гендерные роли и стереотипы. Освоив эти понятия, можно переходить к оценке гендерной компетентности личности, в том числе своей собственной. «Гендерную компетентность можно определить как характеристику, которая позволяет личности не быть

субъектом и объектом ситуаций гендерного неравенства» (с. 317). Гендерно компетентная личность замечает ситуации гендерного неравенства, противопоставляет дискриминационным воздействиям и влияниям, сама не создает ситуации гендерного неравенства.

Понятно, что это идеал, но чтобы оценивать изменения в гендерных отношениях в обществе (их регресс или прогресс), необходим эталон для сравнения, чтобы понимать, куда идти и к чему стремиться.

Дискуссионной в этом разделе я бы назвала главу 20 о сексуальности. Дискуссионной не в смысле содержания, здесь как раз все понятно, а дискуссионной в смысле непривычности для массового читателя научного анализа самой темы. Чего скрывать, советское прошлое, когда «секса не было» и постсоветское настоящее, когда «секса стало слишком много», не дают возможности описать эту необходимую черту человеческой жизни спокойно и непредвзято. Практикум по гендерной психологии закрывает данную лагуну, давая читателям возможность познакомиться как с основными этапами развития сексологического знания, так и с анализом наиболее распространенных мифов и ложных толкований сексуальности.

Заключительная четвертая часть Практикума называется «Прикладные аспекты гендерной психологии». В ней восемь глав, из них три (гл.23,24,25) посвящены практике школьных психологов. Думаю, что в третьем издании Практикума надо расширить эту часть, тем более что в первом издании в этом разделе было двенадцать глав, и половина из них во второе издание не вошли. Понятно, что это секвестирование связано с ограниченным объемом самой книги и требованиями издательства.

Конкретно в этом разделе кроме работы в школе представлены главы о женской занятости (гл.22), о манипуляции в сфере межличностных отношений (гл.26), о физической привлекательности как элементе самооценки (гл.27), о гендерных стереотипах в спорте (гл.28), и о насилии в семье (гл.29).

Набор тем достаточно разношерстный, но с практическим применением науки всегда так. Здесь теория следует за запросами практики, наука за жизнью. Актуальная социальная проблема оказывается в центре внимания исследователей в силу стечения целого ряда обстоятельств, зачастую не имеющих отношения к самой науке, например, политической конъюнктуры. Нельзя сбрасывать со счетов и фактор финансирования тех или иных исследований конкретными заказчиками, в том числе общественными организациями, органами власти или фондами-донорами. Подобной темой в этом разделе Практикума является «Насилие в семье».⁴

В Приложении к этой главе приведена методика «Светофор». Она используется для диагностики и реабилитации детей-жертв различных форм насилия. И здесь, как и во всех других методиках Практикума, читатель может не только познакомиться с материалом, но и использовать его на практике, тем более, что

домашнее насилие осуществляется в самых разнообразных формах – от физического до психологического.

В заключение скажу о своем личном отношении к этой книге. Как уже говорилось, я – социолог, преподаю курсы с гендерной тематикой, в частности, «Гендерологию и феминологию» для будущих социальных работников. Читать подобный курс, не рассматривая гендерные стереотипы и представления, невозможно; анализировать гендерную идентичность, не обсудив механизмы гендерной социализации, невозможно; говорить о «стеклянном потолке» в женской карьере или о конфликте родительских и профессиональных ролей, не затрагивая отношения в семье и самодискриминацию женщин, тоже невозможно. Поэтому я использую на своих занятиях, как минимум, треть материалов, имеющихся в Практикуме.

Одно из родимых (родовых) пятен гендерных исследований – междисциплинарность. Социологи работают на поле психологии (психология больших групп, гендерная социализация), психологи внедряются в юриспруденцию (та же тема домашнего насилия), историки становятся социологами (история и социология повседневности) и т.д. В этом и сила, и слабость гендерных исследований одновременно. Сила, потому что это дает возможность исследователям создать объемную, многогранную, рельефную картину мира и событий, слабость – в маргинальности научного статуса исследований, в необходимости доказывать свое право на существование именно в таком формате, который не укладывается в рамки официальной науки.

Я, правда, знаю еще одну такую специальность высшей школы, которая тоже никак не укладывается в существующую в России номенклатуру специальностей научных работников, и даже в последнюю, утвержденную в 2009г., – «Государственное и муниципальное управление». Хотя в Украине, например, диссертации по «public administration» защищаются. Как это ни парадоксально, но у нас нет научной степени по государственному управлению, а значит, рано или поздно исследователю приходится решать, к какой науке он принадлежит – социологии, политологии, экономической теории, или, может быть, к юриспруденции.

Теперь о недостатках, которые, с моей точки зрения, есть в Практикуме. Первый и главный вопрос, как успеть освоить его содержание в рамках часов, отведенных на гендерную психологию или какие либо другие гендерные дисциплины в высшей школе. В книге 29 глав и, понятно, что это не предел. Знания в области гендерной теории, как справедливо отмечает И. С. Клецина во введении, быстро нарастают и будут нарастать. Четвертый раздел Практикума, если бы позволял объем, уже сейчас мог быть на семь глав больше, которые можно было перенести из первого издания.

Как отделить абсолютно необходимое, без чего вообще нельзя обойтись при изучении гендерной психологии, от того, что можно считать факультативным, т.е.

перенести это на самоподготовку? Ответа на этот вопрос в Практикуме нет. Понятно, что каждый преподаватель сам может выбрать темы, но, как уже неоднократно подчеркивалось, я рассматриваю ситуацию, когда этой книгой пользуются не только психологи и для чтения курсов не по гендерной психологии. Для меня лично, как человека, занимающегося гендерной политикой, потерей стало то, что во втором издании Практикума исчезли темы по гендерной дискриминации и сексизму, по гендерным аспектам лидерства, по роли СМИ в формировании и поддержании традиционных ролей мужчин и женщин. В целом, мне кажется, Практикум стал более «заточен» под педагогику, в том числе школьную. Учитывая место работы основных авторов – РГПУ им. А. И. Герцена – это понятно, но с точки зрения широты охвата гендерной проблематики и ее актуальности мне кажется это недостатком.

В целом, магистральное направление решения проблемы большого объема материала очевидно. Необходимо развивать магистерские программы с гендерной тематикой на разных специальностях высшего профессионального образования, увеличивать число факультативов и дисциплин по выбору, раскрывающих гендерные проблемы, включать гендерные темы в другие (смежные) курсы, в конце концов, надо менять сами образовательные стандарты высшего и среднего профессионального образования, вводя в них гендерную компоненту.

Все это задачи на будущее. Пока же перед нами Букварь по ликвидации гендерной неграмотности молодежи и взрослого населения России, и всех, читающих на русском языке, книга, позволяющая повысить гендерную компетентность личности, и сделать тем самым следующий шаг в социальном развитии страны, в нашем движении к идеалам свободы и справедливости.

-
- 1 Главной задачей современного этапа развития гендерных исследований в России является гендерное просвещение всех групп населения. Для того чтобы оно было успешным, необходима соответствующая литература, в которой простым доступным языком, но в то же время систематизировано были изложены те знания, которые нужно «нести в массы». Опыт подобного рода в гендерной социологии уже есть. Это *Гендер для «чайников»*, под ред. Ирины Тартаковской (М. «Звенья», 2006), 260с. Книга вышла при финансовой поддержке Фонда им. Генриха Белля тиражом 3 тыс. экз., частично поступила в продажу, частично распространялась по библиотекам и вузам. Второе издание с несколько измененной структурой и составом авторов, но тем же тиражом, вышло в 2009г. Однако эта книга, несмотря на название, совсем не для «чайников». Она написана хорошим профессиональным языком и является скорее коллективной научной монографией, чем учебным пособием или справочником для непосвященных.
 - 2 Структура всех глав одинакова. Сначала – Вводные замечания, в которых раскрывается смысл основных понятий, используемых в главе. Затем – Цель занятия, Осна-

щение (оборудование), Порядок работы, описание всех Этапов работы, Контрольные вопросы, Список литературы и Приложения с описанием ситуаций или текстами для анализа, карточками, шкалами и т.п. Все раскрыто настолько детально, что при определенном опыте педагогической работы провести подобное занятие сможет даже не психолог. Тем не менее, преподаватель должен быть знаком с основами гендерной теории, в противном случае у него возникнут сложности с анализом результатов работы группы и достижением целей, поставленных перед занятием.

- 3 Русская компьютерная программа по орфографии всегда предлагает заменить гендер на тендер, потому что слово «гендер» она не знает. Это, кстати, тоже индикатор отношения в России к гендеру и гендерным исследованиям, потому что в английской версии слово «gender» в компьютерном словаре есть.
- 4 В ноябре 2004г. при Комитете по труду и социальной защите населения Санкт-Петербурга был создан Координационный совет по предотвращению насилия в семье и связанных с ней социальных институтах в Санкт-Петербурге. Это постоянно действующий коллегиальный совещательный орган, цель которого организация эффективного взаимодействия органов государственной власти Санкт-Петербурга, органов местного самоуправления, общественных объединений и иных организаций Санкт-Петербурга по выработке предложений для формирования и реализации государственной политики по предотвращению насилия в семье. Возможно, деятельность этого совета пока не сильно снижает уровень домашнего насилия в нашем городе, потому что причин, его порождающих, множество, и далеко не все они находятся в зоне управленческого воздействия властей и гражданского общества, но сама тема насилия периодически обсуждается в СМИ, в Петербурге создана социальная реклама по его профилактике и т.д.. Заседания Координационного совета стали переговорной площадкой для государственных органов и некоммерческих организаций по выработке конкретных мероприятий по предотвращению насилия в семье с их последующим государственным финансированием.

Наталья Коршунова. Образование в зеркале гендера.

Любовь Штылева. Фактор пола в образовании: гендерный подход и анализ (М.: ПЕРСЭ, 2008), 316 с.

Публикация книги Л.В. Штылевой *Фактор пола в образовании: гендерный подход и анализ* (М.: 2008), безусловно, является важным событием для отечественной педагогической науки и педагогического книгоиздания. Несмотря на то, что, начиная с 80-90-хх гг. 20 в., в сфере постсоветских социальных наук

предпринимались значительные усилия по включению гендерной методологии, в области теории и практики российского образования и педагогики делаются только первые шаги в развитии гендерных исследований и применении понятийного аппарата гендерной теории. В этом контексте очень большое значение имеет книга Л. В. Штылевой, кандидата педагогических наук, доцента кафедры управления образованием, заведующей лабораторией гендерного образования Мурманского государственного педагогического университета, в которой представлена первая в отечественной педагогике систематическая теория и методика гендерного подхода в образовании (прежде всего в школьном), включая модель гендерного анализа школьной среды. Можно утверждать, что полученные автором результаты исследования свидетельствуют о возникновении нового для отечественной педагогической науки направления, изучающего особенности обучения и воспитания детей с учетом гендерных различий.

Л.В. Штылева – автор большого числа публикаций по теории и методике гендерного подхода в школьном и педагогическом образовании, публицистических статей о гендерном неравенстве в российском обществе и его последствиях, а также двух программно-методических пособий для ФПК. К гендерной проблематике в педагогике она обратилась одной из первых в России, а рассматриваемая монография явилась результатом многолетних (с 1996 г) исследований ученого в этой области и была подготовлена при поддержке Российского Гуманитарного Научного Фонда.

Основные задачи монографии Л.В. Штылевой: во-первых, сократить разрыв между уровнем освоения гендерной инновации в педагогической теории и уровнем использования гендерного подхода в других отраслях науки; во-вторых, опираясь на достижения гендерного подхода в смежных с педагогикой науках, разработать теорию и методику гендерного подхода и гендерного анализа, сделать ее доступной для практического использования руководителями образовательных учреждений, педагогами и родителями. Монография адресована преподавателям педагогических дисциплин, студентам и аспирантам, руководителям учреждений основного (школьного) образования и начального профессионального образования, специалистам, а также всем, кто интересуется проблемами модернизации образования, гендерной социализации и гендерного образования.

Необходимо отметить, что проведенное автором исследование осуществляется в широком социокультурном контексте, начиная с первой главы «Гендерный подход в науке и социальной практике» и завершая последней, четвертой «Методология и методика гендерного анализа образования». Другие главы: вторая – «Гендерный подход и «фактор пола» в образовании» и третья – «Полоролевой и гендерный подход в образовании: традиционная и эгалитарная стратегия социализации полов» также написаны на основе применения данных широкого спектра социальных и гуманитарных наук. Понятие гендера актуали-

зируется и структурируется автором посредством обращения к правовым, экономическим, демографическим вопросам пола, применения социологического и лингвистического анализа, осмысления зарубежного опыта, учета исторических особенностей российского общественного сознания и современной политики РФ в области образования с начала 1990-х гг.

Практическое поле концепции «фактора пола» в образовании, представленное в рецензируемой книге, охватывает различные аспекты педагогической практики: гендерные стереотипы учителей, методы и техники формирования эгалитарного мировоззрения у школьников, гендерный режим образовательной среды, школьные программы, учебники и учебные пособия как фактор гендерной социализации, гендерное насилие в школе и др.

В книге Л.В. Штылевой сущность гендерного подхода раскрывается в сопоставлении с полоролевым подходом, что позволило автору выявить существенные различия между ними и отметить определенное сходство. Полоролевой подход предполагает, по определению Л.В. Штылевой, «дифференцированное отношение к девочкам и мальчикам в процессе воспитания как представителям противоположных и неравноценных групп. Данный подход осуществляется посредством целенаправленной подготовки девочек и мальчиков к неравнозначным функциональным ролям в семье и обществе, неравноценным видам деятельности и разным жизненным стратегиям». ¹ Поэтому основой полоролевого подхода, как отмечает автор, является признание приоритета биологического перед социальным. Полоролевой подход воспроизводит традиционные половые (гендерные) роли и стереотипы. Л.В. Штылева отмечает в своей монографии, что полоролевой подход (традиционное половое воспитание), который в настоящее время повсеместно используется в российских образовательных учреждениях, с точки зрения современной науки, ограничивает развитие индивидуальности, препятствует самоактуализации творческого потенциала девочек и мальчиков в процессе образования, не способствует самореализации женщин и мужчин в последующей жизни. Поэтому, даже отмечая определенные достижения полоролевого подхода в сфере педагогической практики, автор делает вывод о непродуктивности дальнейшей практики образования на основе полоролевого подхода. В условиях фундаментальных социально-экономических трансформаций российского общества требуется переход от традиционных (патриархатных) сценариев половых ролей к эгалитарной модели социализации, предполагающей равноправие позиций женщин и мужчин в обществе. Ответом педагогики на вызовы времени должна стать разработка новых подходов к социализации полов в образовании, среди которых важное место занимает гендерный подход.

Как отмечает Л.В. Штылева, необходимо различать гендерный подход в образовании и гендерный подход в педагогике. ² Гендерный подход в образовании – это, по мнению автора, прежде всего принцип, изменяющий цели и характер педагогического взаимодействия с учащимися разного пола, идео-

логическая основа системы педагогических мер, направленных на гендерную социализацию учащихся в контексте обучения и воспитания. Гендерный подход в педагогической науке – это методология исследования педагогических систем, прямых и скрытых механизмов школьной среды, обучающих мальчиков и девочек отношениям неравенства, нормирующих самореализацию и выбор жизненных стратегий будущих женщин и мужчин. Гендерный подход в педагогике открывает скрытые возможности образования для развития и самореализации каждого ребенка, для значительного усиления человеческого потенциала общества, гуманизации отношений между полами на всех уровнях межличностных и общественных отношений. Важным инструментом разработки гендерного подхода в педагогике является, как отмечает автор, гендерный анализ образования, которому принадлежит важная роль методологического основания для разработки метода гендерного анализа образования и разработки практико-ориентированной методики для гендерного анализа школьной среды.

Примечательной чертой рецензируемой монографии является ее практическая ориентированность. В ней не только описаны процедуры, методы и инструментарий гендерного анализа образовательной практики, но и приведены примеры его применения к анализу различных образовательных документов, в частности, школьных программ, учебников и воспитательных мероприятий. При этом необходимо отметить, что результаты проведенных Л.В. Штылевой исследований гендерной идентичности российских школьников обнаруживают немало парадоксов, свидетельствующих о необходимости развития отечественного гендерного образования. Так, например, данные, полученные в ходе контент-анализа проективных сочинений девочек-подростков «Я через 15 лет», предположительно свидетельствуют о том, что «гендерное самосознание современных старшеклассниц по сути своей мало чем отличается от гендерного самосознания их матерей, несмотря на все социокультурные и экономические потрясения последнего десятилетия и опыт социалистической эмансипации женщин».³ Отвечая на этот вопрос Л.В. Штылева, делает вывод о том, что «современная российская школа как социальный институт пока еще слабо способствует принятию подрастающим поколением идей гендерного равенства и ценности самореализации».⁴

В книге представлена объемная источниковедческая база, большое число примеров из школьной жизни, действующих учебников, зарубежного опыта. Л.В. Штылева умело включает в изложение материала отрывки из школьных учебников, выдержки из документов, примеры из педагогической отечественной и зарубежной практики, определения понятий, взятые из учебной литературы и пр. Обращение автора к опыту других стран выгодно отличает данную работу от многих других исследований в сфере образования, ограничивающихся отечественным контекстом. Также необходимо отметить такие важные качества рецензируемой работы как точность и определенность научного языка, краткость,

ясность и выразительность научного стиля. Безусловно, книга Л.В. Штылевой является важным вкладом в развитии гендерной методологии в российском школьном и педагогическом образовании и послужит включению гендерной теории в исследования, проводимые в сфере педагогической науки.

-
- 1 Л. В. Штылева, *Фактор пола в образовании: гендерный подход и анализ* (М., 2008), с. 146.
 - 2 Там же, с. 208
 - 3 Там же, с. 134-135
 - 4 Там же, с. 136

Ольга Романцова. Аннамари Джагоз. Введение в квир-теорию. Перевод М. Кукарцевой / Отв. ред. В.Е. Кашаев (М.: «Канон+» РООИ «Реабилитация», 2008), 208 с.

Издание в русском переводе книги Аннамари Джагоз *Введение в квир-теорию* (Annamarie Jagose, *Queer Theory: An Introduction* (New York University Press, 1997)), является, несомненно, важным событием в процессе легализации ЛГБТ- и квир-проблематики в постсоветском регионе и ее включения в отечественный академический контекст. Безусловно, объем современной западной литературы на эту тему поистине огромен, но монография Джагоз, посвященная исследованию истории становления и описанию основных теоретических положений квир-теории, по мнению ряда западных гендерных и феминистских исследователей, является одним из лучших изданий в области ЛГБТ-исследований за последние годы.

Для постсоветских читателей книга Джагоз важна, по моему мнению, прежде всего тем, что ее автор, основываясь на результатах, полученных многими исследователями гендера, сексуальности, культурной и социальной антропологии, обращается ко всему корпусу квир-теории как академической дисциплины, сформировавшейся на Западе в конце 90-х годов, стремясь избежать как редукции к сфере более конвенциональных гей- и лесби-исследований, так и редукции к классической психоаналитической проблематике анализа

сексуальных перверсий. При этом автор представляет свою рабочую гипотезу контуров квир-теории как незавершенную, открытую к переформулированию, являющуюся, собственно, пока только введением в нее: Джагос, как она уточняет, ставит перед собой задачу ввести в академический контекст некоторые из наиболее важных концептуальных разработок квир-теории и выявить логику развертывания ее различных аспектов.

Как замечает Джагос, даже беглого взгляда на современное позиционирование концепта «квир» достаточно, чтобы стало ясно, что эта категория находится в процессе становления. Это не означает, что квир-теория пока еще окончательно не выстроена или не приобрела четкие очертания, а наоборот, акцентирует изменчивость ее области определения, ее эластичность, что является одной из конститутивных характеристик этой теории. Поэтому автор книги не ставит перед собой задачу написания аналитического введения в феномен квир, а, напротив, как бы стремится очертить карту мобильности квир, а также специфических ситуаций в истории концептуализации сексуальных категорий, складывающуюся в последние сто и более лет. Стратегическим фактором, играющим решающую роль в реализации данной стратегии, является, по мнению Джагос, то, что феноменология квир в контексте коммодификаций современной социальной структуры включает в себя аспекты гораздо более широкого круга явлений, чем область традиционных гей- и лесби-исследований: от новых социокультурных явлений и трендов, начиная от масс-медийных продуктов и форматов клубной культуры до интернет-ресурсов и сегментов потребительского рынка, в которых специфическое ЛГБТ-потребление производит формирование идентичности субъекта по определенному типу американизированной евроцентричной модели культуры, где фактор гендерной идентичности перестает выполнять роль ключевого фактора.

Характеризуя методологию рецензируемой книги необходимо отметить, что сам термин «квир» не имеет строгой и однозначной дефиниции. Как свидетельствуют работы основоположников и ведущих представителей квир-теории – Мишеля Фуко, Джудит Батлер, Ив Косовски Седжвик, Дэвида Гальперин, Джудит Халберстам и др., в концепт «квир» заложена имманентная нестабильность и множественность значений. Квир-теоретики (а также субъекты, практикующие или признающие квир-идентичность) акцентируют не столько практики подобию (формирование сексуальности по признаку пола сексуального партнера), сколько практики несовпадения и различия (специфика опытов, практик, представлений). В результате в квир-теории под сомнение ставится продуктивность конструкции любой стабильной идентичности, а также реконструируются основанные на ней типы солидарности. Как отмечает автор, концепт «квир» предполагает новые, более пластичные и значительно менее жестко структурированные идентификационные модели негетеронормативности и признает идею пластичной сексуальности, проблематизируя очевидность самого концепта гомосексуаль-

ности как такового. В связи с этим, как формулирует Джагоз, предлагаемый квир-теорией концепт гетеронормативности позволяет избежать дихотомии гомо/гетеро, поскольку ориентируется не столько на формальные признаки пола сексуального партнера, сколько на идеологемы, базовые принципы организации сексуальности конкретного субъекта и построение взаимоотношений в паре. Эти идеологемы включают множественное переплетение факторов гендера, пола, возраста, сексуальных практик, репродуктивной политики, социальной активности, финансового положения и т.д. С этой точки зрения, гетеронормативной или негетеронормативной может быть и гомо- и гетеросексуальная пара. Не вызывает сомнения также тот факт, что квир сегодня стал коммерческим продуктом, тиражируемым и успешно продаваемым современной массовой культурой индустрией, трендом, востребованным не только на уровне киноиндустрии, шоу-бизнеса и искусства, но и широко распространенным персонажем реальной жизни.

В последние годы понятие «квир» стало использоваться как «зонтичный» термин для обозначения и описания совокупности в культурном смысле маргинальных гендерных идентификаций, как развивающаяся теоретическая модель, формирование которой происходит вне пределов традиционных гей и лесби-исследований. В частности, одной из ведущих методологических рабочих гипотез Джагоз является постановка под сомнение гомосексуальности как унифицированной, стабильной категории научного анализа. «Что такое гомосексуальность на самом деле?», – ставит вопрос Джагоз. «Обладает ли взрослый женатый мужчина эпохи классической Греции одинаковой сексуальностью с трансвеститом взрослым американским индейцем? Какая сексуальная категория описывает женщину, находящуюся в сексуальных отношениях с мужчиной, идентифицирующим себя как гей? Можно ли быть гомосексуалом, никогда не имея и не намереваясь иметь однополый секс?». Эти и другие вопросы становятся весьма сложными в связи с разными культурными и историческими контекстами и проблематизируются автором как определения того, что на самом деле конституирует гомосексуальность как феномен, не являющийся, по словам Джагоз, идентичным самому себе «ни во времени, ни в пространстве».

Наряду с тем, что в рецензируемой книге анализируются различные направления практической и теоретической работы в области квир-исследований, в ней также акцентируется то, что квир выступает, прежде всего, как «зона возможностей, всегда находящаяся под воздействием некоего чувства потенциальности, которое нельзя полностью артикулировать» (Lee Edeiman, *Homographesis: Essays in Gay Literature and Cultural Theory* (New York: Routledge, 1994), p. 114). При выявлении границ такого текучего и мультисигнификативного феномена, как квир, важным является то, что Джагоз сочетает методы исследования «снизу-вверх» (*bottom-up*), как того, что мы знаем о сексуальности на самом деле, и объяснения «сверху-вниз» (*top-bottom*), как того, что мы знаем о ней только предположительно.

но, из разного рода литературных источников, что придает ее размышлениям о квир убедительность. Поскольку у исследователей нет согласия по поводу границ определения квир, неопределенность данной категории является одной из ее привлекательных черт: в широком смысле, квир описывает те действия или аналитические модели, которые драматизируют несвязность в как бы стабильных отношениях между биологическим полом, гендерной идентичностью и направленностью сексуального влечения. В противовес эссенциалистским концептуализациям гетеронормативности, которая провозглашает гетеросексуальность как фундаментальную категорию субъективности, феноменология квир фокусируется на несовпадениях между ними. Институционально квир-теория ассоциируется, прежде всего, с областью гей- и лесби-исследований, но область ее анализа также включает в себя и такие темы, как трансвестизм, модификации тела, гермафродизм, гендерную омонимию, хирургическое изменение пола. Включение такого конфронтационного термина как квир в установившийся академический дискурс предполагает также, что традиционные концепты мышления в этом дискурсе как бы утратили свою эффективность, дали сбой. Разоблачение квир-теорией нестабильности категорий гомо/гетеросексуальности развивается из специфической гей- и лесби-проработки постструктуралистского образа идентичности как совокупности множественных и изменчивых позиций. Тем не менее, квир не всегда рассматривается как адекватная концепция или условное обозначение для феномена гей- и лесби-субъективностей, хотя многие теоретики приветствуют квир как новый дискурсивный горизонт сексуальности.

Квир, как пишет Джагоз, часто рассматривают как специфический феномен американизированной западноевропейской культуры, хотя в действительности в самих Соединенных Штатах репрезентация квир-проблематики все еще воспринимается как достаточно революционное событие. Об этом, по мнению Джагоз, свидетельствует пример культового американского сериала *Queer as Folk* о жизни представителей гетероненормативных гендерных групп в одном из небольших городов США, который был назван *The New York Times* «поистине революционным». Сериал шел пять лет в среднем по 20 серий в год, и хотя его показ осуществлялся по кабельному телевидению в неудобное ночное время, тем не менее, собирал огромную аудиторию и широко обсуждался в прессе. Создатели сериала сумели показать жизнь гей/лесби сообществ в Америке с совершенно обыденной, повседневной стороны и дали широкой аудитории возможность увидеть и разделить эмоции, желания и жизненные переживания «простых» квир-субъектов. Актеры фильма, особенно исполнитель главной роли Гейл Хэральд (*Gale Harold*) стали культовыми объектами гомосексуального желания мирового масштаба, а саунд-трек к сериалу – песня *Proud* в исполнении Хизер Смолл (*Heather Small*) превратилась в своего рода «государственный гимн» глобального камин-аута. Однако, как отмечает Джагоз, именно вследствие этого сериала массовое общественное мнение в отношении гомосексуалов в США

стало парадоксальным образом еще более неоднозначным, поскольку рядовые американские граждане, воспитанные в пуританской морали фундаментальной протестантской церкви были буквально фрустрированы многочисленными откровенными сценами гомосексуального коитуса. Поэтому, показательным является отмечаемый Джагоз феномен, когда при том, что в университетских городках Северной Америки академический персонал и студенты не боятся открыто заявлять о неконвенциональности своей сексуальной ориентации, легитимизированной на законодательном уровне штата, и на дверях офисов многих преподавателей приклеены стикеры, подтверждающие, что данный преподаватель абсолютно толерантно относится к сексуальным «перверсиям» своих студентов и представители сексуальных меньшинств могут не опасаться предвзятого отношения, то остальные жители этого же города и граждане штата в большинстве предпочитают скрывать свою гомосексуальную ориентацию из-за страха подвергнуться психологическому прессингу или даже потерять работу.

Из наиболее «топовых» и обсуждаемых а американских СМИ книг, посвященных проблемам квир, Джагоз выделяет книги Эндрю Салливэна *Виртуально-нормальный: рассуждения о гомосексуальности* и Майкла Уорнера *Проблемы с нормальностью: секс, политика и этика квир-жизни*. Книга Салливэна представляет собой описание жизненного опыта автора-гомосексуала в контексте истории гей-движения, в которой главным тезисом является достаточно конвенциональное утверждение о том, что «гомосексуальность – это тоже нормально», и что человек не должен принуждать себя к бесконечному отказу от релевантной для него идентичности. Тем не менее, эта книга вызвала достаточно интенсивную эмоциональную и амбивалентную реакцию американских читателей: многие геи, скрывающие свою ориентацию, оценили ее очень высоко, полагая, что Салливэн на своем примере описал и их собственную жизнь. Однако их оппоненты наоборот посчитали, что Салливэн представил ситуацию гей-идентичности как слишком сложную и что описание его личностной гомосексуальной эмпирии лишь внесло хаос и субъективизм в гей-мир вместо необходимых ему нормативности и структурированности. В этом контексте Майкл Уорнер, принадлежащий к оппонентам Салливэна, выдвинул тезис о том, что парадоксы гетеросексуальной и в целом объективирующей этики гендерной нормативности с необходимостью должны отразиться на уровне повседневности квир-субъектов. В результате по видимости не вызывающая сомнений логика нормы и ее маркеров ставит вопрос о ее сигнифицирующей функции, в чем, по мнению Уорнера, кроется, причина «подрыва» модели гетеросексуальной нормативности. Анализируя данную полемику, Джагоз отмечает, что и Салливэн, и Уорнер при всем различии их позиций оба ориентированы на репрезентацию сексуальности *gender minorities*, то есть, что квир для них сводится преимущественно к гомосексуальным феноменам, что соответствует его наиболее распространенной трактовке. Однако, согласно представлениям современной

квир-теории и формулировке Джагос, квир – это, скорее, «искривление» предписанного измерения сексуальности во всех возможных и даже, казалось бы, невозможных модальностях. В этом смысле, квир представляет собой результат нестабильности позиций экзистенциального и феноменологического уровней субъективности, поэтому к квир относятся не только различные практики геев и лесбиянок, но и *любые* альтернативные гендерные проекты субъективности, как на уровне реальных практик, так и на уровне воображаемого: от продаваемых персонажей масс-медиа, продуцируемых глэм-капитализмом до альтернативных культур БДСМ-комьюнити, практик межпоколенческого секса и других форм нестабильности объекта влечения. Квир-идентичность в этом контексте выступает, прежде всего, как другой, факультативный «лайф-стайл», как проект сопротивления субъекта процессу утраты собственной идентичности посредством выстраивания проекта дис-идентификации как своего рода идентичности в-процессе, непрерывно находящейся в ситуации своего собственного становления. В то же время, оценивая оппозицию lesbi- и гей-сексуальностей и конвенциональных сексуальностей, Джагос рассматривает ее в комплексе с общественно-политической составляющей идеи гомосексуальности, подчеркивая различия гей-движения и lesbi-движения, которое, как она отмечает, гораздо ближе к движениям за права женщин, чем к движениям за права сексуальных меньшинств.

Прочитывая книгу Джагос в постсоветском контексте, можно отметить, что, с одной стороны, начиная с 90-ых годов, в странах постсоветского региона (Беларуси, России, Украине и др.) не только активно формировалась и легализировалась гей и лесбийская субкультура, но и, во многом благодаря развитию гендерных исследований, осуществлялось интенсивное включение ЛГБТ и квир-проблематики в различные сферы как «большой» культуры, так и академической науки. Однако, с другой стороны, фиксируемый сегодня у нас сдвиг от стилистики «плещечного» алкоголизма и «хаббализма» в сторону глянцевого «тренинговой» маскулинности/фемининности и метросексуальности иллюстрирует как идеологические изменения в ЛГБТ-пространстве постсоветских стран, так и изменение способов потребления: растущую коммерциализацию ЛГБТ-культуры, появление ЛГБТ-сегмента в постсоветском культурном супермаркете – вплоть до радикальной ангажированности ЛГБТ-образов глэм-капитализмом, связи между развитием клубной ЛГБТ-культуры и капитализма и плюрализацией жизненных стилей, клубных «тусовок» и других коммерческих мероприятий отдыха. Поэтому следует отметить, что значение книги Джагос – не только теоретическое, связанное с введением новых квир-понятий и квир-концептов, способствующих открытию новой идентификационной реальности в постсоветском контексте, но и практическое, критическое: правильное концептуальное понимание квир-политик открывает новые возможности для критики процессов коммерциализации и властного капиталистического присвоения квир-культуры в условиях посткоммунизма.

Леся Ставицкая: Елена Горошко. *Информационно-коммуникативное общество в гендерном измерении* (Харьков: ФЛП Либуркина Л.М., 2009), 816 с.

Монография Елены Горошко *Информационно-коммуникативное общество в гендерном измерении* – это четвертая индивидуальная монография известного специалиста в области гендерной лингвистики. Е. Горошко занимается гендерными исследованиями с 1987 года и опубликовала свыше 150 работ по данной проблематике. Три предыдущие книги Е. Горошко (*Интегративная модель свободного ассоциативного эксперимента* (2001), *Языковое сознание: гендерная парадигма* (2003), *Функциональная асимметрия мозга, язык, пол: аналитический обзор* (2005)) были посвящены различным аспектам проблемы «гендер и язык», фокусируя психолингвистический аспект данной проблемы.

Научные интересы Е. Горошко в области гендерной лингвистики носят разносторонний характер: от общетеоретических, психолингвистических и лингводидактических проблем гендера до квир-лингвистики. Последние пять лет Е. Горошко продуктивно работает в области гендерных аспектов Интернет-коммуникаций, изучает особенности формирования виртуальной идентичности. Автор рецензируемой монографии расширила диапазон собственно лингвистической исследовательской парадигмы, применив процедуру социологического анализа. С методологической точки зрения работа представляет собой несомненный интерес, так как в ней успешно синтезированы лингвистические и общегуманитарные, культурологические и социологические подходы к исследуемой проблеме. В результате проведенного многопланового и многоаспектного социологически ориентированного исследования автор приходит к выводу об усиливающейся значимости вербального контента в социальном пространстве Сети и о том, что язык является одним из основных инструментов выражения социальной идентичности индивида.

В первой главе «Информационное общество: теория и реальность» Е. Горошко подробно анализирует генезис современного информационно-коммуникативного общества, развитие современных информационно-коммуникативных технологий как инструмента в преобразовании социальной реальности. Вторая («Гендерные исследования в социологии») и третья («Коммуникация: гендерные аспекты») главы посвящены гендерным особенностям социальных коммуникаций. Содержание трех первых глав готовит читателя к восприятию четвертой заключительной главы (last but not least!) «Гендер в информационно-коммуникативном обществе», самой большой по объему, что является закономерным, учитывая, что название главы коррелирует с названием самой монографии.

В первой главе «Информационно-коммуникативное общество: теория и реальность» автор раскрывает природу ИО, в котором создание, обработка и

передача информации являются источниками производства, власти, социальных и культурных смыслов. В главе выявлены основные онтологические признаки ИО: «По мере развития ИО информация становится коммуникацией – операцией трансляции символов, которая призывает или побуждает к действию. [...] Поэтому в настоящий момент уместнее говорить не об информационном, а скорее – об *информационно-коммуникативном* обществе, структурирующей основой развития которого является *коммуникация и производство социальных значений*» (с.101). Развивая эту мысль, автор, опираясь на анализ теоретических источников, утверждает, что все нарастающая информационная избыточность разрушает смысловое и практическое пространство человеческой деятельности и человеческих отношений. При этом содержательная сторона коммуникации все чаще связывается с формой сообщения, а не с его семантикой. В первой главе автор раскрывает природу и особенности функционирования нового типа общественной организации – коммуникативно-сетевой организации, а также выделяет пять магистральных подходов к изучению как Интернет, так и коммуникативного пространства, возникающего на его основе.

Во второй главе «Гендерные исследования в социологии» подробно проанализирована социологическая параметризация гендера, т.к. социология стала одной из наиболее “чувствительных” к гендерной проблематике дисциплин. Вместе с тем в постсоветских социальных науках гендерная проблематика, как утверждает автор, до сих пор занимает маргинальное положение, оценивается зачастую как неактуальная и ненаучная. Выход из создавшегося положения заключается в создании относительно замкнутого сообщества исследователей, занимающихся гендерными исследованиями (ГИ), но принадлежащих к разным дисциплинам. Цель такой автономизации – выработать общий понятийный аппарат и метаязык ГИ, постоянно поддерживать исследовательское сообщество и укреплять междисциплинарные связи, а также создавать собственные каналы научной коммуникации. Содержание этого раздела убедительно доказывает повышенную чувствительность социологии к гендеру. Именно в терминах социологии раскрывается сущность гендера как социального пола: «... в отличие от других гуманитарных дисциплин (языкознания, психологи, антропологии), где в начале развития ГИ преобладали биологический детерминизм и эссенциалистская методология, в западной и отечественной социологии при изучении гендерных проблем преобладающим стала теория полоролевой (гендерной) социализации, в парадигмальных рамках которой считается, что половые роли усваиваются в процессе социализации» (с.201). По мнению автора, наиболее известные и значимые исследования по гендерной проблематике в социальной теории осуществлялись в рамках четырех парадигм: *структурно-функциональном анализе, теории социального конструирования, феминистской эпистемологии и объединительной парадигме.*

В этом разделе автор оценивает как перспективные разноаспектные классификации интерпретативных моделей гендера. По мнению Е.Горошко, в зависимости от уровня изучения гендера можно говорить о *личностных теориях гендера*, где гендер рассматривается как базовая составляющая человеческой личности; об *интеракционных подходах*, в фокусе внимания которых выступает гендер, конституирующийся в процессе интерактивных взаимодействий и об *институциональных подходах*, в которых основной исследовательский интерес смещается на изучение механизмов встраивания гендера в различные социальные институты, структуры и группы.

В зависимости от методологии интерпретации понятия «гендер» автор выделяет следующие парадигмы: *парадигму соответствия*, когда гендер считается социально детерминированным выражением биологического пола индивида; *парадигму аналогии*, в которой считается, что гендер символизирует пол, при этом отрицается наличие прямой связи между полом и гендером; и *парадигму неоднородности*, в которой предполагается, что пол и гендер – это явления разной природы, причем пол обуславливается гендером.

Проблема «гендер и язык» в аспекте вербальной и невербальной коммуникации является ведущей в третьем разделе «Коммуникация: гендерные аспекты». В этой части работы особый интерес, на наш взгляд, представляет анализ автором методологических ограничений ГИ в лингвистике и теории коммуникации, которые выражаются в тиражировании стереотипных установок относительно стратегий коммуникативного поведения мужчин и женщин: «... гендерные исследования “грешат” абсолютизацией и стереотипностью выводов, отсутствием учета контекста, излишней экспланаторностью и идеологизированностью» (с.272). По мнению Е.Горошко, ограниченность эмпирических гендерных социальных исследований проявляется, прежде всего, в том, что: 1) в своих интерпретациях исследователи руководствуются собственными предубеждениями; 2) допускается переоценка собственных суждений; 3) зачастую выводы делаются на основе случайных сведений, собственных рефлексий, а не статистических данных; 4) при этом научные убеждения могут генерировать собственные подтверждения.

В этой части монографии читатель найдет немало полезной информации о современных подходах к изучению гендера: перформативный анализ, дискурс-анализ с включенной феминистской стилистикой, этнографической коммуникацией, интеракциональной социолингвистикой, разговорным анализом. Автор утверждает, что для глубокого понимания интеракции языка и гендера необходимо создание интегративного подхода на основе объединения дискурс-анализа, теории коммуникативной практики, перформативного направления и других современных социо-лингвистических подходов.

Логическим итогом объемного исследования является четвертая, завершающая глава «Гендер в информационно-коммуникативном обществе», в которой

основное внимание уделяется: 1) феномену “гендерного цифрового разрыва”, 2) анализу мотивации использования сети Интернет с учетом гендера, 3) особенностям гендерного восприятия информационно-коммуникативных технологий, 4) особенностям Интернет-репрезентации фемининности и маскулинности и 5) анализу коммуникативных стратегий в сети Интернет.

В результате проведенного исследования различных аспектов организации ИО и Интернет-коммуникации Е.Горошко делает вывод о существующей гендерной асимметрии в структуре Интернет-пространства: «Хозяин виртуального пространства пока мужчина. При этом женское все равно маркируется, субъективируется и становится маргинальным». При этом парадоксальным образом если восприятие Интернет-пространства пользователями-мужчинами колеблется между негативным и более позитивным, то у женщин образ в Сети постоянно окрашен положительно. Тем самым, по мнению Е.Горошко, коммуникативное пространство Интернета в силу его определенных свойств развивает такие гендерные модели и стратегии поведения, которые в реальной коммуникации в принципе невозможны.

В то же время автор отмечает, что в условиях одновременной зависимости от среды, технологий, социума и пола информанта, гендерный фактор не может быть стабильно фиксируемым и однозначно проявляемым. Тем не менее, согласно приводимым Е.Горошко результатам социологических исследований пользователей Интернет, женские языковые реакции более разнообразны, а мужские – более стереотипны, что, по мнению автора, свидетельствует о более глубокой укорененности реалий ИКТ в языковом сознании мужчин.

Важным достоинством данного поистине энциклопедического издания является также то, что книга снабжена «Словарем базисных терминов», который состоит из нескольких терминологических групп: Терминология по методологии науки, Терминология по ИКО, Терминология, связанная с Интернет, Терминология по направлению «Идентичность» и Терминология по гендерной теории. Завершается книга достаточно объемным приложением к каждой из глав.

Рецензируемое издание, являющееся публикацией докторской диссертации, безусловно, свидетельствует не только о том, что Е. Горошко виртуозно владеет методикой метаанализа, но об исключительной эрудиции автора, глубоком знании отечественной и зарубежной литературы по исследуемой проблематике, умении выстроить сложные концептуальные схемы. Концептуальные постулаты монографии погружены в актуальную историческую реальность, что выводит работу за узкопрофессиональные рамки. Научная компетентность, интересный, живой, заинтересованный поход к исследуемой проблеме, несомненно, способствуют тому, что монография Елены Горошко будет интересна лингвистам, социологам, психологам, политологам и займет достойное место среди бестселлеров гуманитарных наук.

Наталья Загурская. Новое поколение выбирает себя

Лала Багірова. *N-гармония*. (Х.: Майдан, 2004); Багірова Лала. *Танці на попелищі*. (Х.: Майдан, 2006); Багірова Лала. *Поки ти створюєш фан-клуби та секти власного імені*, Роман-газета. 2006. № 3 (19).

Современные молодые украинские писательницы, в отличие от предыдущего поколения, очарованного постмодернистскими семантическими играми, в постинтеллектуальной наивности уже, как я неоднократно отмечала, не просят прочесть их желания, а прямо их артикулируют. И эти желания, с одной стороны, просты и конкретны – иметь средства к существованию, чтобы, в свою очередь, иметь свободное время для самосовершенствования и самовыражения. С другой стороны, желания молодых авторесс подчеркнута протестны, причем речь идёт об онтологическом протесте, в каком-то смысле протесте как таковом. Так, Лала Багірова прямо заявляет в повести *Пока Ты Создаёшь Фан-клубы и Секты Собственного Имени*: «тупость и нечестность – это две черты, с которыми я просто не способна мириться ни в людях, ни в себе» (с. 40). В том же «женском» номере *Роман-газеты*, где опубликована повесть Л. Багіровой, опубликована также повесть Ирины Кимличенко *Сегодня Солнечно*. Поэтому номер в целом даёт представления о концептуальном и стилистическом разнообразии украинской женской литературы. Если харьковчанка Л. Багірова подчеркнута, иногда до гротеска, реалистична, то львовянка И. Кимличенко пишет богемно-декадансную, с налётом постмодернизма прозу.

Молодых писательниц уже не беспокоят гендерные проблемы, во многом уже решённые их предшественницами, создавшими необходимый гендерный фон, который необходим, но незаметен как воздух. В рамках круглого стола *Политическое воображаемое гендерных исследований в Украине (Гендерные исследования, № 15)* эта тема поднимается достаточно остро, вплоть до признания отсутствия гендерной проблемы в украинском обществе молодыми авторессами. Как заметила Багірова, «наверное, самая большая проблема – деньги, точнее их отсутствие и невозможность реализовать себя так, как бы этого хотелось. В то же время, иметь какие-то средства к существованию» (с. 254). Даже электральная проблематика решается юными писательницами посредством скорее денежного, чем анатомического эквивалента символического, поскольку «тебе никогда не будет достаточно одного взгляда, чтобы представить всё остальное, тебе всегда будет недостаточно того, что ты представляешь» (с. 45). Такая приверженность, говоря словами Славоя Жижека, к «символическому реальному», приводит к тому, что персонажесса любит за то, что ненавидит – почти *I Love to Hate You*, как пелось в песне популярной группы с красноречивым названием *Eraser – Ластик*, стирающий шрамы. Почти – потому что ластиком в этом случае выступает, например, очередной пирсинг, который «будет напоминать о том, чему никогда больше нельзя позволять случаться» (с. 55), образуя, если

воспользоваться терминологией Алена Бадью, пробоину в онтологическом поле очередного события истины.

В творчестве Багировой проблематика травмы-пробоины представлена достаточно разнообразно. В поэтическом сборнике *N-гармония* эта травма представлена как утренние ожоги от ароматических палочек, дым которых вчера очерчивал «своими полупрозрачными красками контуры твоего лица...» (с. 11). «Ты» настолько сильно любит, что не ощущает отсутствия своего солнца, пока оно его «случайно не сожгло» (с. 17). Чтобы избежать травмы, ожога авторесса предлагает: «не лови истину за хвост между кусочками сновидений» (с. 22). Травмы здесь образуют поле экзистенциального опыта, который невозможно разбить на этапы и снять: он фиксируется как история жизни в глазах, которые являются при этом не зеркалами души, но зеркалами как таковыми, поскольку «жизнь не может принадлежать кому-то одному» (с. 9). Если, по мнению Томаса Огдена, близкого к кляйнианскому психоанализу, снятие представляет собой психоаналитический симптом уже осознанный, но ещё не присвоенный, осознаваемый в качестве внешнего, то в поэзии Багировой идёт речь о формировании поверхности симптомов-смыслов: «делить жизнь на этапы / точно так же странно, / как отделять в винегрете картошку и морковку» (с. 45). Такой семантический «винегрет», где не отделяются «картошка и морковка», готовит любовь, обеспечивающая целостность. Утраченные же мечты и сделанные ошибки метафоризируются в качестве котлов, достойных благодарности как испытательные ситуации. И если глаза другого воспринимаются как зеркало, в которых мы видим самих себя, говоря словами популярной песни советского композитора и исполнителя Юрия Антонова «гляжусь в тебя как в зеркало и вижу в нём любовь свою [а не твою – Н. З.]», тогда мы можем говорить о шизоидном нарциссизме, характерном для современной культуры. Такое культурное пространство организуется шизоаналитически, как молекулярный ансамбль, поэтому основная проблема общества – его существование; именно поэтому персонажессе остаётся конструировать своего субъекта, в том числе и гендерного, самостоятельно: в том числе и средствами поэзии. Онтология селф-мейд субъекта завершает многие поэзии: «каждый хочет кусок меня, ведь я ниоткуда, я из пространства» (с. 31), «холодное зимнее небо спрашивало, как меня звать» (с. 36), а «я ем ложкой густой воздух, ведь таким его для меня сделало моё слово. Самосовершенствование» (с. 28) и т. д. В таком случае ради любви приходится жертвовать мерой необходимого одиночества.

Некоторое время актуальной формой гендерного субъекта в советской и постсоветской реальности была женщина фрик с её резкими переходами от полного бездействия к безудержной активности, воплощённый в перформансах Людмилы Горловой и Милены Орловой и исследованный Людмилы Бредихиной. Проект имел красноречивое название – *Май Кэмп*, которое отсылало к постмодернистскому отказу от борьбы в пользу пародии. Лала Багирова делает

и следующий шаг: «Я долго пыталась пояснить всем, / что бороться уже не актуально, / но никто не мог понять, как можно просто любить своего соперника, / пока я не прекращала бороться с их непониманием» (с. 42). Так, протест остается онтологическим и не оформляется в онтически понятую борьбу.

Более поздний поэтический сборник *Танцы на Пепелище* организован как танцевальное ревю: его главы носят названия *Стриптиз*, *Танго*, *Спортивный Рок-н-ролл* и завершается *Ритуальными Танцами*. И это танцы на пепелище травмы-ожога. Так персонажесса становится современной Психеей, травмирующей мужчину и саму себя. И если в предыдущем сборнике она предупреждает о том, что не нужно называть её «солнышком», чтобы она ненароком не сожгла, то здесь она напоминает о том, что можно вылепить из пластилина целый мир, но нельзя – солнце: ведь пластилиновое солнце плавится от тепла и одновременно плавит и обжигает воображаемый мир. Такая мизансцена вызывает в памяти онтологизацию золы Жака Деррида. Зола возникает после аутодафе чистым и безликим светом сияющей фалличности, холокоста дара, перманентно эрегированной игры без сущности. Она может быть интерпретирована как травматический пробел, дис-танция. Это граничное пространство-складка «между ангелами и их тенью» протанцовывается, скажем, пирсингом как телесным эквивалентом болевого дис-танцирования посредством пунктума-укола, пользуясь терминологией Ролана Барта. Авторесса признаётся: «ненавижу боль – / обожаю боль, / боюсь боли, и ещё сильнее боюсь с ней / расстаться» (с. 36). Это вызывает очевидные гендерные изменения: «я больше не стерва, радуйся: я на коленях – / молюсь чтобы ты меня разлюбил» (с. 6). Если стервозность можно рассматривать как сопротивление фаллической символизации, то теперь обращение к ней в молитве означает просьбу ограничить пространство воображаемого. Частая метафора в поэзии Багировой – ангелы, которые легче дыма и пепла; они становятся сначала исключительно ангелами-хранителями, а затем и просто хранителями, охранниками. Именно они обеспечивают дис-танцию, позволяя быть рядом, но не вместе и спасти от давящих стен: «вероятно, даже меня одной слишком много / для этой комнаты. / Если же добавить чей-то голос, / то она взорвётся, / будто перекаченный воздухом шарик» (с. 15). И тогда – снова пожар и снова зола, новая оргия и новая апатия и так до бесконечности, что собственно, и является онтолого-психологическим условием современного поезиса, когда боль преследует «словно ветер – поезда» (с. 19), что так созвучно дерридианскому «и вот – зола», где тире и пробелы разъединяют, дис-танцируют слова, неразделимые на слух. И хотя невозможно убить одну и ту же птицу или отрезать крылья одному и тому же ангелу, они снова отрастают как бурьян, а именно так обычно характеризуют творчество киевской авторессы Ирэны Карпы, но могут охарактеризовать и многих других молодых авторесс. Птицы же становятся излюбленными словенскими психоаналитиками птицами Хичкока как метафоры бессознательных страхов, преодоление которых

расчищает и поэтизирует пространство, шрамируя небо и позволяя увидеть в глазах другого уже не себя, а, например, фейерверк или огни ночного города. Авторесса безвозвратно изменилась и повзрослела, но её паспортный возраст увеличился не намного и поэтому «зажди, / це не назавжди [непередаваемая игра слов, укр. «подожди, / это не навсегда» – Н. З.]. После того, как мир с его «молекулами страха» и персонажесса, уже вдохнувшая немало этих молекул, взрываются музыкой, сопровождающей танцы, остаётся много золы, дыма и «надежды, или веры, / или просто индивидуального в каждом» (с. 26), а Большой Другой распадается на бесконечное количество маленьких я: «я устрою танцы на пепелище / или просто закроюсь от мира, / чтобы никто не смог заблокировать / моё личное мировосприятие» (с. 67). Плевать на общество также небезопасно – оно может плюнуть в ответ, а переплёвываться с обществом не входит в число любимых занятий персонажессы, тем более что этой слюны всё равно не хватит для того, чтобы избежать пепелища. Форма одной из поэзий отсылает к битническому гимну Генри Брукса: «Мы в дружбе со злом. Мы / Плюём на диплом. Мы» – «Мы хотим быть сумасшедшими. / Мы хотим быть. / Мы хотим. / Мы.» (с. 41) Учитывая, что на украинском языке «сумасшедший» звучит как «божевильный» – свободный в Боге, возникает дымное пространство ожидания мессианского чуда после осознания того, что по ту сторону реального точно так же пусто, как и по эту. Чудо появления новой мессии должно произойти как в жизни, так и в литературе, на чём настаивала Лала Багирова в рамках вышеупомянутого Круглого стола. Это заявление тем более интригует, учитывая, что персонаж большинства её текстов – загадочная звезда украинской поэзии. В ожидании чуда лучше не разрушать воображаемое других, даже если для этого приходится врать, а значит бывшие друзья, соперники и любимые становятся привидениями, то и дело встречающимися на улицах города: «а мы уже совсем другие, / вот только они этого никогда не замечают, / вот только они никогда не...» (с. 96).

В целом письмо самых юных авторесс значительно более личностно и экзистенциально окрашено чем это «позволено» в постмодерном контексте и, скорее, вписывается в новую онтологию как политического, так и поэтического. Юные авторессы уже не стремятся в любом случае стать на дискриминированную сторону. Персонажесса *Догвилля* Ларса фон Трира, Венера в мехах XXI века – сначала выступает на стороне угнетенных, а затем всё равно ищет власти более сильного. Уже *N-гармония* заканчивается сюжетом о воображаемых пришельцах, *aliens*, чужих, вращающиеся глаза которых, похожие на отдельные планеты, оказались «отражением огоньков / моей стиральной машины» (С. 65). Так сливаются тема дружности как условия поэтического с темой чуждости бытового и, шире, буржуазного, а в результате они взаимонейтрализуются и начинают восприниматься более реально. Перефразируя Жижека, можно обозначить эту тенденцию как стремление к «реальному символическому». Любовь в таком случае отчуждается и отождествляется с воображаемым в ходе стремления к

материальной независимости, «вкусной свободе», говоря словами Карпы, не от чего-либо, а для самосовершенствования и самореализации – прежде всего творческой. И это стремление не может не вселять оптимизма, а его воплощение уже вызвало бэби-бум в искусстве и реальности – Лалу Багирову можно поздравить с тем, что на сегодняшний день она стала счастливой молодой матерью.

Виктория Ларченко: Zorislav Paunković, Ruske teme: članci iz «Politike» (Beograd: Balkanski književni glasnik, 2010), 204 str.

Книга известного сербского культуролога и филолога, специалиста по русской культуре, главного редактора журнала *Руски алманах* Зорислава Паунковича *Русские темы: статьи из «Политики»* представляет собой собрание статей, опубликованных в 2004-2008 в известной сербской газете *Политика*, в приложении или в рубрике «Культура». Вскоре эти тексты появились и в Интернете, в частности, в болгарско-сербском портале *Балканская русистика* (www.russian.slavica.org). Книга привлекает особое внимание тем, что в ней акцент ставится не просто на русскую культуру 19, 20 и 21 веков (что уже само по себе демонстрирует уникальное знание автором как традиции, так и современной русской культуры), но на сложные, гетерогенные отношения между двумя культурами, в потенциале – между многими современными в русле полемиического диалога. В начале 90-х годов в рецензии на издаваемый Зориславом Паунковичем *Руски алманах* Сергей Костырко задал вопрос: «и все-таки как это получилось, что именно в Югославии, именно там, где “грохочут пушки”?»¹ оказалось возможным продолжать внимательное и углубленное изучение литературы? Ответ на этот вопрос во многом объясняет научную и политическую позицию Паунковича в мире, который Джудит Батлер назвала «хрупким»: «не для внутрицеховых разборок и коммунальных дразг, а для защиты литературы, для обеспечения ее жизнедеятельности даже в таких непростых условиях, какие сложились сегодня на территории бывшей Югославии».² Это и есть, на мой взгляд, один из современных – среди других возможных – ответов на известный вопрос Теодора Адорно «что остается от Освенцима».

Паункович анализирует представителей и представительниц самых различных направлений и жанров русской литературы и культуры, а также влияние этих текстов на балканскую культуру в целом. Книга интересна и тем, что в ней большое внимание уделено *женским авторам*, работающим в различных жанрах – от литературных (проза, поэзия, драматургия) и автобиографических

до академических. Это и Нина Берберова, и Нина Петровская, и Лидия Гинзбург, и Ирина Александер, и Нина Николаевна Грин, а также Евгения Гинзбург, Мария Ремизова, Ксения Драгунская, Маруся Климова, Анна Горенко, Лидия Мастеркова, Ольга Флоренская, Людмила Сараскина, Вера Мильчина (*Россия и Франция: дипломаты, литераторы, шпионы*, 2004), Ирина Жеребкина. Так, например, современную русскую драму, по мнению Паунковича, наиболее выразительно представляет Ксения Драгунская, творчество которой, по его словам, является «одной из попыток ответа на вопрос, что представляет собой феномен «новой русской драмы»». Экстраординарным событием современной русской литературы и литературной критики, по мнению Паунковича, является творчество известной питерской писательницы и переводчицы Маруси Климовой с ее вызывающим феминистским манифестом *Моя история русской литературы*. В русской поэзии 20 века в целом Паункович предполагает возможность начала нового, четвертого по счету «золотого века русской поэзии», который связывает с именами Игоря Холина, Алексея Хвостенко и др. В то же время наиболее выдающимся русским поэтом 90-х годов 20 века автор считает Анну Горенко, соглашаясь в этом смысле и с мнением Данилы Давыдова – «подобно Борису Поплавскому, которого младшее поколение первой эмиграции ощущало своим оправданием, Анна Горенко оказывается оправданием и русскоязычной молодой литературы в диаспоре, да – в некотором смысле – и нас всех».³ Недаром один из разделов книги называется «Феминистки до феминизма».

Интересна и методология анализа. На мой взгляд, Паункович, с одной стороны, использует генеалогию анализа Мишеля Фуко, исследуя преимущественно маргинальных для «большого» канона русской литературы (шире – культуры) авторов (кроме Солженицына и Аксенова); но миноритарная культура, как известно, способна сказать о «большой» больше, чем претендует сказать «большая» культура. Возможно, методологической установкой на миноритарных авторов мы обязаны Паунковичу, что большое внимание в книге уделяется, как уже было сказано, именно женским авторам. С другой стороны, Паункович, использует метод включающих дизъюнкций Жюль Делеза, и эта исследовательская стратегия позволяет детально вычертить гетерогенность русско-сербской линии межкультурных влияний на протяжении всей книги. Обе исследовательские стратегии, на мой взгляд, направлены против сформулированного Лотманом принципа бинаризма функционирования русской культуры, то есть без опосредования третьим членом. Однако использованные Паунковичем методы анализа позволяют предположить иные интерпретации самой русской культуры, а также сделать важное предположение о том, что славистика сегодня способна перестать быть простым оружием холодной войны и служить новым практикам культурной и политической солидарности в современном «хрупком» мире.

Среди авторов, которых Паункович представляет сербскому читателю, – например, Александр Грин, неоднократно переведенный на сербский язык и, как

оказывается, необычайно популярный у балканских читателей и читательниц; современную русскую прозу представляет Павел Улитин, раскрывающий, по мнению Паунковича, новые тенденции современной русской литературы. В *Русских темах* анализируется творчество ОБЭРИУ, лианозовской школы, московского концептуализма и, например, *Митьков*, которые, по оценке Паунковича, знаменуют возникновение нового, отказывающегося от критериев «возвышенного» стиля в русской литературе и художественных практиках.

Заслугой книги является и то, что Паункович стремится передать балканским читателям максимально большее количество информации об актуальных событиях российской культуры – о восприятии творчества Гайто Газданова в современной российской ситуации (в связи с его юбилеем); творчества Гоголя (2009 был объявлен ЮНЕСКО годом Гоголя) и связанных с ним современных медийных популистских проектов, в частности, недавней экранизацией *Тараса Бульбы*; о литературной премии “*Большая книга*”, основанной в 2006 году и ее лауреатах – эссеисте Рустаме Рахматуллине, авторе исследования в жанре эссе *Две столицы, или метафизика Москвы* (Паункович считает Рахматуллину «новым именем в русской литературе»), Владимире Маканине и его романе *Асан*, Людмиле Сараскиной (биография Александра Солженицына).

Темы и персоналии, затрагиваемые Паунковичем, необыкновенно разнообразны: это и эксперименты по переписыванию знаменитых русских романов прошлого, например, творчество драматурга Олега Шишкина, создавшего пьесу “*Анна Каренина*”; и творчество забытых русских писателей прошлого, произведения которых сейчас открываются читателями заново – таких как, например, Лев Тихомиров (1852-1923), автор романа *Тени прошлого*, воспоминаний *Последние дни* и исследования *Религиозно-философские основы истории*; и сенсационные воспоминания историка литературы Ивана Толстого, внука Алексея Толстого и многое другое. Паунковича интересуют российские исторические личности, имевшие отношение к Сербии. Так, например, он анализирует опубликованную военным историком Александром Бондаренко в серии «ЖЗЛ» биографию русского графа сербского происхождения Михаила Милорадовича, пишет об Илье Голенищеве-Кутузове, который долгое время жил в Югославии, преподавал в Белграде и публиковался в таких сербских литературных изданиях, как *Новая Европа*, *Сербский литературный журнал*.

В разделе «Интервью» помещена беседа Анджелки Цвиич с Зориславом Паунковичем и его братом – Душко Паунковичем, также известным сербским специалистом в области русской культуры. Отвечая на вопрос о критериях отбора переводимых и публикуемых авторов, Зорислав и Душко Паунковичи отметили, что, в первую очередь, они стремятся опубликовать наиболее значимых и оригинальных русских авторов, еще недостаточно представленных в балканском культурном контексте. В качестве примера приводится Константин Вагинов, названный «последним великим писателем петербургского периода литературной

истории», «поэтом и прозаиком, сочетавшим авангард и классику», для которого Октябрьская революция явилась переломным моментом, воспринимающимся не только как политический, но прежде всего как культурный или даже метафизический феномен. В то же время Зорислав и Душко Паунковичи считают, что в постперестроечный период в России появилось большое количество новых литературных имен, с которыми связано возникновение новых литературных тенденций и конструирование новой русской литературы. Рассказывая о новых проектах, братья Паунковичи назвали, в частности, планируемые публикации на сербском таких авторов как Леонид Липавский, Александр Саянов и Даниил Хармс, об особом интересе к творчеству которого свидетельствует интервью Зорислава Паунковича с Владимиром Глоцером.⁴

Зорислав Паункович также принимал активное участие в работе основанного белградским профессором Йованом Айдуковичем болгарско-сербского портала *Балканская русистика* (*Balkanska rusistika*, www.russian.slavica.org), деятельности которого посвящена статья «Виртуальная балканская русистика». Автор отмечает, что перед порталом поставлено множество целей, и, хотя он еще не слишком масштабно развернулся в Интернете, однако уже зарекомендовал себя как эффективный постоянно обновляющийся электронный ресурс, которому, как хочется надеяться Паунковичу, предстоит «долгая академическая жизнь».

Русская культура 20-го столетия не может быть представлена и прочитана вне ее связи с политиками тоталитаризма. Поэтому, наверное, неслучайно книга *Русские темы* начинается и заканчивается текстами об Александре Солженицыне. Автор пытается избежать всякой однолинейности суждений. По мнению Паунковича, с Солженицыным связана целая эпоха не только в истории России, но и остального мира, из-за той роли, которую его книги, начиная с *Одного дня Ивана Денисовича*, опубликованного в журнале *Новый мир* в 1962 году, сыграли в процессе крушения тоталитаризма. И хотя Солженицыну довелось увидеть плоды своего труда – падение коммунистического строя, позволившее ему вернуться в Россию, Солженицын, как отмечает Паункович структурную амбивалентность писателя, оказался в двойной оппозиции – как по отношению к СССР (из-за его критики коммунистического строя), так и к странам Запада (из-за критики западной либеральной демократии).

Для Сербии фигура Солженицына также является знаковой: писатель резко осуждал бомбардировки Сербии 1999 года и в то же время активно выступал за невмешательство России в балканскую политику.

Из русских писателей, которым, также как Солженицыну, пришлось пережить иммиграцию, фактически высылку из СССР, Зорислав Паункович пишет о Василии Аксенове. И здесь автор книги делает акцент на амбивалентности творчества Аксенова, парадоксальность которого выражается, согласно Паунковичу, в том, что благодаря литературному эксперименту в своих ранних произведениях (*Затоваренная бочкотара* и др.), Аксенов может быть назван

предшественником современного русского литературного постмодернизма, тогда как в поздний период своего творчества Аксенов фактически возвращается к классическим литературным формам и работает в стиле, близком массовой культуре. По свидетельству Паунковича, Аксенов был исключительно популярен в странах бывшей Югославии, его произведения были переведены на сербский, словенский, хорватский и македонский языки, включая один из поздних романов *Москва ква-ква*, где одной из ведущих является тема советско-югославских отношений в период позднего сталинизма.

Обращение Паунковича к миноритарным авторам и обращение к фигуре Солженицына в начале и конце книги, возможно, понадобилось автору для того, чтобы подчеркнуть, что и литература русского андеграунда, так называемая неофициальная культура (Б. Леонов и зарождающаяся неофициальная литература, зарождающийся концептуализм в визуальном искусстве 60-х и т. д. и т. п.), и актуальная культура, оперирующая не просто бинарной формулой «против Солженицына», но и более сложной по определению фигурой абсурда как основной логической фигурой, где невозможно по видимости провести бинарные оппозиции, рискуют, тем не менее, попасть в ту ловушку логического бинаризма, об опасности которой для русской культуры предупреждал когда-то Юрий Лотман. Паункович как бы призывает актуальных деятелей русской культуры не воспроизводить вечную модель протопса Аввакума – личный (или скопофилический личный: мемуары, воспоминания и т. п.) опыт, резкость языка, демонизацию оппонента и т. п. Ставка на межкультурный, хотя и полемический диалог в ситуации, когда «грохочут пушки», очень важна, на мой взгляд, не только для самого широкого круга читателей из стран бывшего СССР, делающих на уровне государственных риторик ставку на партикуляризм в форме национальных культур против принципов универсализма и потерянной солидарности, но и для постсоветских гендерных исследовательниц и исследователей, которые также находятся в ситуации выбора между государственными национальными партикуляризмами и практиками универсальной чувственной солидарности, так называемой «чувственной демократии» Жака Рансьера. Какой выбор мы сделаем, зависит от нас. Хочется надеяться, что легкая, свободная, написанная с любовью, разножанрово, с помощью метода включающих дизъюнкций книга Зорислава Паунковича будет способствовать практикам поиска новых стратегий межкультурной – в том числе гендерной – солидарности в современном действительно хрупком мире.

1 С. Костырко РУСКИ АЛМАНАХ. Земун/Сремски Карловци. Издавач: Книжевно друштво ПИСМО, 1992, № 1, 2; 1993, № 3; 1994, № 5, в *Новый мир*, 1995, № 9, http://magazines.russ.ru/novy_i_mi/1995/9/zarbook.html.

- 2 Там же.
- 3 Д. Давыдов, «Предисловие. Поэтика последовательного ухода.», в Анна Горенко, *Праздник неспелого хлеба* (М.: Новое литературное обозрение, 2003), 112 с.
- 4 *Зеркало*, 2009, № 34, <http://magazines.russ.ru/zerkalo/2009/34/pa13.html>.

Ольга Романцова: Complying With Colonialism: Gender, Race And Ethnicity In The Nordic Region, edited by Suvi Keskinen, Salla Tuori, Sari Irni and Diana Mulinari (Farnham&Burlington: Ashgate Publishing, 2009), 272 p.

Предметом данного сборника статей является феномен постколониальной принадлежности региона Скандинавских стран, в которых, как доказывают авторы, ситуация постколониальности и постколониальные процессы сохраняются до настоящего времени. Ключевой проблемой, через которую в книге раскрывается тема скандинавской постколониальности, выступает гендерное равенство в постфеминистской перспективе и анализ его связи с европейскими ценностями и идеями евроцентризма в регионе. Основу международного состава редакторов и авторов антологии также составляют специалисты, имеющие самое непосредственное отношение к гендерным исследованиям: Салла Туори (*Salla Tuori*) является исследователем Института Женских Исследований Академического Университета г. Або, Финляндия; Сари Ирни (*Sari Irni*) – исследователь кафедры женских исследований того же университета; Диана Мулинари (*Diana Mulinari*) – профессор социологии Центра Гендерных Исследований Университета Лунда, Швеция.

Проект издания сборника возник в результате конференции «Постоколониальность в Северном?», организованной кафедрой женских исследований университета г. Або, Финляндия, весной 2006 г. В то же время книга представляет собой не только публикацию материалов конференции, но включает более широкий спектр статей, рассматривающих, как отмечается во введении, «каким образом в Северном регионе на различных уровнях общностей – национальном, социокультурном и локальном происходят символические процессы, побудительным стимулом которых выступает обещание адаптации евроцентристских приоритетов». Как отмечается во введении, под «осуществлением колониализма» в книге понимается комплексный анализ хаббитусной принадлежности стран

Северного региона – Швеции, Норвегии, Дании, Финляндии, рассматриваемых в контексте присущих им колониальных связей или «колониальной общности», в силу которой страны Северной Европы продолжают принимать участие в постколониальных процессах. На методологическом уровне в книге представлены аналитические стратегии европейских, феминистских и постколониальных исследований в области постколониальной социологии, социальной теории, культурных исследований, этнографии, гендерных исследований, культурной географии, исследований социального обеспечения, политологии и международных отношений.

Книга состоит из введения «Постколониальность и северные модели социального обеспечения и гендер» (Д. Мулилари, С. Кескинен, С. Ирни, С. Туори) и 3-х частей. В первой части представлены статьи (У. Вуореллы «Постколониальная история/постколониальное настоящее: колониальная общность. «Постколониальность» в норвежском контексте»; М. Палмберг «Норвежское колониальное мышление»; Б. Блаагаард «Обратная сторона моего паспорта: мифы происхождения и генеалогия белого господства в переходном социальном коллективном воображаемом»; Д. Мулилари и Н. Ретжел «Обещание Северного и его реальность на Юге: опыт мексиканских рабочих как членов династии «Вольво»»; Д. Латвала «Пришелец или член семьи? Воспроизводство постколониальных властных отношений»; Л. Хуттунен «Историческое наследие и неоколониальные формы власти? Постколониальное прочтение боснийской диаспоры») авторы которых анализируют колониальную историю и политическую ментальность северных европейских стран, с одной стороны, выступающих как аутсайдеры Европы в экономическом, политическом и этическом смыслах, а, с другой, – часто рассматриваемых как образцовые по критерию социального обеспечения, демократии и новых экономических показателей. Стремясь отойти от традиционных идеализированных имиджей, авторы данного раздела критически исследуют северное колониальное прошлое – как с точки зрения политик и практик колониальной истории северно-европейских стран, так и с позиций их современного национального воображаемого, в котором неевропейские субъекты выступают в качестве этнических других.

В статьях второй части книги (Т. Хюбинетте и К. Тигервалл «Государственное обеспечение и его «Другие»: когда расизм становится индивидуализированным: опыт расиализации среди взрослых приемных детей и приемных семей в Швеции»; Д. Свердлюк «Сопrotивление стигме проституции: нарративы русских женщин-мигрантов, живущих в Норвегии»; С. Ирни «Опыт – это национальное богатство: постколониальное прочтение эйджизма на трудовом рынке»; Л.-М. Росси «Сладкие мальчики и девочки-крепкие орешки: репрезентации колониальных сообществ в Финской визуальной культуре») пересматриваются политики и дискурсы северного социального обеспечения и их критические вызовы со стороны северо-европейского феминизма, рассматривающего конструируема-

ние концепта государственного обеспечения как формирование доминантной основы для организации общества. В этой части монографии показано, как централизация процессов и практик социального обеспечения работающих семей является глубоко укорененной в фундаментальных концептах нации, гендера и гетеросексуальности: развитие «дружественных по отношению к женщинам» социальных политик базируется здесь на гетеронормативной перспективе, обеспечивающей «социокультурные бонусы» главным образом женщинам, живущим в гетеросексуальных семьях. Тексты этого раздела направлены на анализ путей, посредством которых, например, норвежское государство социального благосостояния является определенным образом расо- и гендеро-центричным и конструирует модель семьи строго определенного гетеросексуального типа.

В третьей части книги (Д. Вуори «Делая нацию и гендер: цивилизующая миссия «дома»: направляя мигрантов к реальности гендерного равенства»; Н. Бринк Ларсен «Институциональный национализм и ориентализированные другие в паренталистском обучении»; Ч.-Л. Янг «Чей феминизм? Чья эмансипация?»; С. Кескинен «Насилие, связанное с «почестями» и Северное национальное строительство») затрагиваются теоретические и эмпирические аспекты этноцентрического патернализма, регулирующего процесс, определяющий «других» внутри национальных государств социального благосостояния на Севере. В целом, в этом разделе рассматриваются различные аспекты связи между гендером, сексуальностью и нацией и их изменений в историческом и социокультурном контекстах. Нация и национальные государства рассматриваются как выполняющие функцию регулятивных механизмов сексуальности и репродуктивности, поддерживающихся идеологией производства женщин как полновластных «матерей нации», маскирующей сведение женской гендерной роли к биологическому и культурному воспроизводству. Авторы статей этой части критически исследуют практики государственного обеспечения и как эффекты дискурса гендерного равенства соотносятся с идеями европейских ценностей и европейского глобального доминирования, демонстрируя, каким образом классические имиджи гендерного равенства могут быть использованы для конструирования дихотомических границ между нацией и ее другими. В статьях этой части книги также проблематизируется скрытое понимание статуса иммигранта, которое существенным образом детерминирует культуру и идентичность северо-европейских стран. В частности, в статье Вуори проблематизируются постколониальные практики культурного сообщества иммигрантов, которые создают в регионе альтернативные сообщества, как бы выстраивающие множественные социокультурные связи, трансgressирующие географические, культурные и политические барьеры. В результате автор стремится выявить механику властных отношений, определяющих реальное положение тех, кто живет в пространстве между культурами, языками и реализует практики мультикультуры в своей повседневной жизни.

В целом, можно отметить, что статьи, включенные в данную монографию, затрагивают широкий спектр проблем – от анализа колониальных иерархий в исторических структурах скандинавского типа ментальности, начиная с истории нордических миссионеров, предпринимавших попытки ассимилировать финно-угорские и римские этнические группы в скандинавские национальные государства, и до рассмотрения различных современных стратегий выстраивания расовых и гендерных иерархий и границ, включая стратегии современных политик государственного социального обеспечения. Авторов, как подчеркивается во введении, вдохновляет не столько цель построения новой теории скандинавского постколониального феминизма, сколько возможность демонстрации некоторых из множества путей мышления и исследовательских стратегий, которые доступны постколониальной теории. Не смотря на то, что, как отмечает Туори, страны Северного региона часто понимаются как гомогенные, важно не только помнить о различиях их колониального прошлого и постколониального настоящего, но и учитывать и важные конкретные политические различия между этими странами, касающиеся, в частности, принятий законодательных решений об иммиграции. В этом контексте евроцентристские идеи политик государственного обеспечения и гендерного равенства в Северном регионе, становятся в книге объектом серьезной феминистской критики. Как отмечает Туори, важно определить, какое именно равенство пропагандируется национальными гендерными политиками, имеющими тенденцию трансформации в равенство эссенциальное, утрачивающее свою мультиплицируемость и мультикультурность.

Вадим Лебедев. Амазонки, ученые и кино.

Dominique Mainon & James Ursini. The Modern Amazons: Warrior Women On-Screen (Limelight Editions, Newark Pompton Turnpike, 2006), 400 p.

Не будет преувеличением сказать, что образ женщины-воина является одним из ключевых для человеческой культуры. Грозные и прекрасные воительницы окружают нас повсюду. Мускулистые девушки с мечами встречают зрителей на картинах Валледжо, суровые ополченки с гранатометами и «революционные монахини» с автоматами Калашникова взирают на нас с пропагандистских плакатов. Производители военно-исторических и фэнтезийных миниатюр стараются включить в свои наборы бойца нежного пола с мечом или «Узи». А число бесстрашных героинь кинобоевиков и видеоигр вообще зашкаливает! Когда автор данной рецензии, беседуя с одной своей знакомой, упомянул в разговоре

персонажа стратегии Red Alert – девушку-бойца Вирус, убивающую своих противников с помощью токсинов, – то услышал вопрос: «Почему воинственные девушки так популярны у вас, мужчин?». Тогда я предположил, что именно данное сочетание сексуальной привлекательности и смертельного оружия наилучшим образом соединяет Эрос и Танатос. Или все дело в победном шествии феминизма по планете? Рецензируемая сегодня книга пытается ответить на данный вопрос.

Доминик Майнон известна как сценарист, специалист по боевым искусствам и независимый кинопродюсер. Джеймс Урсини является автором или соавтором более двадцати книг по истории кинематографа, который также пишет для специализированных журналов по данной тематике. Таким образом, им есть, что сказать по заявленной проблеме.

Современные амазонки посвящены экспликациям и трансформации классического архетипа женщины-воина в кино и на телевидение. Авторы исходят из того, что с античных времен образ амазонки – женщины, пожертвовавшей одной грудью ради удобства при стрельбе из лука – является ключевым для западной культуры. Существуют определенные археологические свидетельства, согласно которым скифские и сарматские женщины действительно участвовали в боях наравне с мужчинами, что и породило легенды. Кроме них, такие случаи были на территории Китая и Британских островов (например, знаменитая королева Боудикка). Впрочем, подробный исторический анализ не входит в задачи авторов книги (и это совершенно справедливо, ибо нельзя объять необъятное). Сосредоточившись на эксплуатации данного образа в кинематографе – причем на достаточно обширном материале (фильмография занимает более 30 страниц), охватывающим как элитарные киноработы Федерико Феллини (*Город женщин*) и ставшие классическими *Чужой*, *Танкистка*, так и новейшие блокбастеры, Майнон и Урсини показали ряд интересных моментов. Отталкиваясь от классических произведений об амазонках, мы видим, что в их изображении боролись между собой две тенденции. Обе поселяли амазонок в уединенные, труднодоступные места. Первая утверждала, что амазонки – злые особы, желающие власти над мужчинами и войны. Согласно второй, они – умны и благородны, а в изоляции живут исключительно с целью самозащиты. С тех пор фантазии о бесстрашных воительницах развивались в нескольких направлениях. Научная фантастика описывала целые планеты, населенные женщинами, и сообщества, живущие по принципу матриархата. Также была популярна тема «затерянной цивилизации». Однако некоторые общие черты у современных киноамазонок все же можно выделить. Предложенный авторами портрет выглядит следующим образом.

Она сражается агрессивнее, чем это необходимо. Она не желает быть фоном, на котором мужчины свершают свои подвиги. Она состоит в тайной женской организации или ордене. Она демонстрирует и черты своего пола,

и черты, более характерные для мужчин. Одевается в военном стиле, но использует классическое женское оружие, являющееся модификациями лука и стрел амазонок античности (а часто используемый мотоцикл – замена лошади, на которых так искусно скакали подданные царицы Ипполиты). Не нуждается в мужчине-спасителе. Часто происходит из «утерянной цивилизации». Может быть би-, лесби, или же не нуждаться в мужчине.

Те или иные черты могут отсутствовать у героинь произведений разных жанров, поэтому для более подробного рассмотрения авторы отдельно анализируют и приключения в джунглях, и охотниц на монстров, и мастериц боевых искусств, и шпионок, и многих других. Диапазон рассматриваемых образов сами авторы обозначили как «от политически корректных феминисток до плохих девочек из банд».

Книга читается с большим интересом и буквально на одном дыхании. Отдельно стоит отметить великолепнейшее оформление, благодаря которому читатель/читательница не просто получают ценную информацию, но и эстетическое удовольствие. *Современные амазонки* выполняют важную миссию, анализируя то, на что высоколбые ученые не желают обращать внимание, – современную массовую культуру. Традиционно она считается «низшей», не имеющей права на самостоятельное существование и потому не заслуживающей глубокого изучения. Именно поэтому массовая культура является одним из «белых пятен» современных гуманитарных исследований. Парадоксальность данной ситуации состоит в том, что, несмотря на накопленный массив литературы, посвященной масскульту, механизм ее функционирования и формирования ее ценностного фонда описан прискорбно мало. Получается, что культуры Средневековья, Просвещения, древней Греции, ацтеков исследованы и описаны намного лучше, чем современная нам культура, находящаяся «за нашим окном». Потому появление работ, подобных *Современным амазонкам*, можно только приветствовать. Данная работа будет интересна и тем, кто изучает кинематограф и визуальное искусство, и тем, кого интересует массовая культура. Тем, кто интересуется проблемами феминизма в кино, она также будет интересна.

Елена Горошко: *Mary Talbot. Language and Gender. Second Edition (Cambridge UK: Polity Press, 2010), 273 p.*

Книга Мэри Тальбо дает всесторонне, теоретически утонченное и одновременно легкодоступное введение в предметную область изучения гендера и языка. В отличие от других работ в книге Тальбо на первое место ставится изучение этой темы в современных медиа и популярной культуре, тем самым существенно расширяя круг её читателей – от студентов и ученых, интересующихся данной проблематикой, до специалистов и просто всех, интересующихся серьезными исследованиями в современной культурологии.

Сьюзан Эрлих

Рецензируемая книга известной английской исследовательницы – лингвиста Мэри Тальбо *Язык и гендер*, является расширенным и исправленным переизданием ставшего уже классическим труда Тальбо, изданного двенадцать лет назад в 1998 году.

Это новое издание тщательно переработано, расширено и обновлено, по сравнению с изданием 1998 года, в том числе добавлено несколько новых глав, описывающих последние тенденции развития гендерных исследований (ГИ) в языкознании, теории дискурса и коммуникации. Эти новые «добавления» включают анализ гендерных особенностей культуры потребления современного информационного общества, дискурса новых медиа, исследований маскулинности и её разнообразных лингвистических репрезентаций, а также последние данные в области политической корректности и феминистской языковой политики.

Как замечает известная феминистская исследовательница и одна из основоположниц ГИ в языкознании в 20 веке Джанет Холмс, Мэри Тальбо удалось очень удачно соединить описание традиционных и известных подходов в области изучения гендера и языка с новейшими исследовательскими практиками в сфере дискурс-анализа, теории перформативности, речевых практик, что создает целостное представление о столь обширной и разнородной исследовательской проблематике, которой является гендерная тематика в языке и коммуникации, т.к. именно создание целостной научной картины этих исследований на сегодняшний момент, их своеобразного гештальта, который выстраивается на страницах книги Тальбо, представляет, на мой взгляд, самую большую ценность. Именно гендерная тематика в языковедческих дисциплинах является наиболее разно-

родной и методологически разрозненной сферой научного анализа, особенно в отечественном языкознании.

Работа состоит из трех разделов, и их логическая компоновка достаточно удачно продумана. Так, вначале во Введении Тальбо описывает контекст развития ГИ, формулируя ключевой тезис о необходимости проведения границы между понятиями «пол» и «гендер». Тальбо пишет: «Гендер – это важное разделение во всех обществах. Оно сверхзначимо для людей. Кем ты родился – мужчиной или женщиной – имеет далеко идущие последствия для индивида. Оно воздействует на наше поведение и на то, как нас воспринимают в обществе, что включает и язык, который мы используем, и язык, который используют в отношении нас. Я хочу, чтобы эта книга помогла Вам стать более осведомленными о гендере именно как о социальной категории, а также о той дифференциации, которая происходит на этой основе, и, что не менее значимо, показать роль языка в поддержании этой дифференциации (р. 3).

В первом разделе «Вступление: обсуждение стереотипов и ранних исследовательских парадигм» приведен анализ самых ранних работ в области изучения гендерных аспектов языка и коммуникации, которые были в основном посвящены констатации различий и особенностей в использовании языка мужчинами и женщинами. Этот раздел состоит из трёх глав: «Язык и гендер»; «Правильно говорим» и «Женский язык и Мужчины делают язык». Эти три главы достаточно наглядно демонстрируют тот академический контекст, который создал теоретическую основу для важных, однако достаточно проблематичных вопросов о различиях между полом и гендером и отражением этого в языке, поднятых первой волной ГИ.

Во втором разделе «Взаимодействие между мужчинами и женщинами» представлено описание и анализ широкого спектра работ, которые вписываются в так называемую *доминантно-дифференциальную модель* (“*difference-and-dominance approach*”). В этом разделе содержится также три главы, посвященные анализу особенностей мужского и женского коммуникативного стилей. Заключает данный раздел глава, в которой приведен анализ методологических слабостей и ограничений доминантно-дифференциального подхода в ГИ, а также показаны те изменения в исследовательских практиках и методологии, которые произошли под воздействием философии постмодернизма и привели к необходимости пересмотра данной модели в сторону более конструктивистских и перформативных подходов к анализу гендерных особенностей языка и речи. Замечу, что в этом разделе приводится, в основном, обзор результатов, полученных на материале англоязычной языковой среды. Здесь также подробно прослеживается и описывается влияние самых разнообразных факторов на вербальное поведение полов – языкового, культурного, ситуационного и прочее. Особое место в этой главе занимает критика подхода *двух культур*, наиболее ярко представленного в трудах американской лингвистики Деборы Таннен об особенностях мужского

и женского общения и коммуникативных неудач, возникающих при этом.¹ Приводятся альтернативные точки зрения на объяснение коммуникативных неудач, возникающих в общении между полами. Основной же упрек исследовательской позиции ученой бросают именно представители феминистской лингвистики (чьи позиции и точки зрения также детально анализируются Тальбо), обвиняя Таннен в том, что её подход выводит из научного рассмотрения или скрывает вовсе влияние *фактора власти* и социального *доминирования* на взаимодействие полов и развивает или усиливает стереотипные и упрощенные взгляды на гендерные особенности коммуникации. Серьезную критику вызывает у Тальбо также такой методологический момент всей доминантно-дифференциальной модели, включая теорию *двух культур* Таннен, как навязывание принудительной гетеронормативности и целого ряда дихотомий, которые как бы априори, изначально задаются данным подходом.

Одновременно с критикой данного подхода возникают и исследования, связанные с изучением гендерного разнообразия и множественностью гендеров, например в афро-американской культуре, исследования различных маскулинных практик, квир-исследования, которые постепенно создали тот необходимый контекст, фон, в котором стали появляться исследовательские модели, основанные совсем на других принципах. Постепенно в ходе развития ГИ приходит осознание того, что гендер является не статичным и неизменно стабильным, а скорее представляет открытую категорию, являясь дискурсивным социальным конструктом. Однако здесь и возникает одна из самых больших сложностей, подстерегающих исследователей-гендерологов, работающих в этой предметной области: как можно концептуализировать гендер без его поляризации (р. 112)?

В последнем разделе работы Тальбо «Дискурс и гендер: Конструирование и перформанс» представлен своеобразный ответ уже современных исследовательских подходов в ГИ, которые изучают и анализируют, как конструируется, воссоздается и разыгрывается гендерная идентичность в отличие от предшествующих подходов, сосредоточенных на дихотомии, статичности и поляризации гендерных различий. В рамках дискурсивного направления в языкознании и теории коммуникации в конце прошлого в начале нынешнего столетия возникает подход, основанный на допущении того, что любая субъективность конструируется в дискурсе. В дискурсе и только в нём индивиды могут позиционировать себя как социальные субъекты, выстраивая, в том числе, и свой специфический гендер (р. 113). Дискурс рассматривается, прежде всего, как одна из форм, разновидностей социальной практики, а использование языка – это не просто индивидуальный акт, а социальное действие.² Подход к дискурсу как социальной практике позволил лингвистам преодолеть видение гендера как чего-то повседневного и очевидного и рассматривать языковые изменения вне социального контекста функционирования языка (р.123).

Этот подход к дискурсу, наиболее интенсивно развивающийся в рамках критического дискурсивного анализа (КДА), сделал как бы *sine qua non* привлечение к ГИ анализа широкого социального и исторического контекста, в рамках которого функционирует как язык, так и дискурс. Он заставил уделять большее исследовательское внимание отношениям между текстами, процессами и социальными условиями, в которых они выстраиваются и реализуются, показывая целесообразность и даже необходимость учета как ситуационного контекста, так и влияния более широкого спектра социальных, исторических и институциональных факторов при проведении ГИ.³ На примере изучения новых маскулинных идентичностей, культуры потребления в современном обществе, дискурса современных медиа и сексуальности, явления политической корректности в языке и борьбы с лингвистическим сексизмом этот раздел, состоящий из шести глав, достаточно точно очерчивает современное состояние развития ГИ на Западе. Он убедительно демонстрирует, что с изменением нашего мира происходят и существенные изменения в обслуживающем этот мир дискурсе, и эти социальные и дискурсивные изменения, по всей видимости, затрагивают как сам язык, так и тот исследовательский инструментарий, с помощью которого его изучают...

Особого внимания заслуживает и композиционное построение книги Тальбо. Так, каждая глава содержит описание теоретических подходов, используемых в данной области, включая анализ последних эмпирических результатов с их кратким обобщением, а также рекомендации по дальнейшему ознакомлению с наиболее ценными литературными источниками и исследованиями по описываемой тематике. Завершает книгу обширный библиографический список, включающий практически все знаковые работы в сфере изучения языка, гендера и коммуникации.

Необходимо отметить, что книга Тальбо написана прекрасным языком, не перегруженным излишней научной терминологией, что делает её доступной как для студентов, которые впервые приступили к изучению гендерных аспектов языка и коммуникации, так и весьма полезной для широкого круга гуманитариев, интересующихся гендерной проблематикой в целом.

К сожалению, в третьем разделе при описании современных подходов и тенденций в развитии ГИ отсутствует их критический анализ. Не приводится и рассмотрение методологической слабости, например КДА или перформативного подходов, которые при значительном теоретическом потенциале, дают, по моему мнению, относительно слабый практический выход. Так, было бы полезно рассмотреть, как гендерная информация, полученная с помощью перформативного метода, может быть использована в феминистских практиках реформирования языка. Вместо этого, автор ограничивается общим описанием полезности использования правил политической корректности в английском языке.

Замечу также, что при всех положительных моментах рецензируемого издания, необходимо учитывать и тот ряд «ограничений», который имеет труд Тальбо. Мне сложно назвать их недостатками, скорее эта книга может быть порекомендована для использования в учебном процессе в комплексе с другими трудами в этой области, которые помогли бы снять описываемые ниже ограничения.

Так, на мой взгляд, работа Тальбо характеризуется сильным «гендерным перевесом» в ущерб лингвистическому подходу. Т.е. при наличии в книге подробнейшего анализа по использованию гендерного инструментария и теорий, практически отсутствует лингвистический фон или показ того, *как* и с помощью *каких* лингвистических процедур можно эффективно изучать гендерные практики в языке и речи.

Снижает значимость книги Тальбо и тот факт, что практически на 90 процентов автором приводятся данные англоязычных источников, при этом результаты, полученные на основе других языков (например, славянских или восточных) остаются вообще без освещения.

Вызывает странное ощущение и то, что в книге отсутствует заключение, в котором хотелось бы увидеть хотя бы общую перспективу развития этой предметной области в 21 веке.

Поэтому, данный труд скорее может быть рекомендован не как базовый учебник по изучению гендера в языке и коммуникации, как это декларируется в Предисловии ко второму изданию, а скорее эту книгу можно рассматривать как дополнительный источник знаний для всех тех, кто хочет ознакомиться с этой предметной областью и создать целостное впечатление о развитии ГИ в лингво-коммуникативной сфере, не имея при этом специальной лингвистической подготовки.

-
- 1 D. Tannen, *You just don't Understand* (London, UK: Virago), 1991. См. также: D. Tannen, *Gender and Discourse* (Oxford, UK: Oxford University Press), 1994.
 - 2 L. N. Fairclough, *Discourse and Social Change* (Cambridge, UK: Polity Press, 1992), p. 73.
 - 3 L. N. Fairclough, *Language and Power*. Second Edition (London, UK: Longman, 2001), p. 26.